

МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ

КАК ОЩУЩАТЬ СЧАСТЬЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЭНН
ЛАМОТТ

АВТОР БЕСТСЕЛЛЕРА «ПТИЦА ЗА ПТИЦЕЙ.
ЗАМЕТКИ О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ЖИЗНИ В ЦЕЛОМ»

SHOUT
SHARE IT



Annotation

Эта книга – удивительное собрание реальных жизненных историй о надежде и радости, любви и прощении, потерях и обретениях. Особенно она будет полезна тем, кто столкнулся с потерями, болью, одиночеством, непониманием. Каждая глава – это мини-эссе о личном опыте автора и тех уроках, которые ей преподает жизнь. Победы над трудностями и болью кажутся порою незначительными, замечает Энн Ламотт, но меняют наше восприятие мира. Серьезные и смешные, откровенные и неожиданные, истории «Маленьких побед» помогают по-новому взглянуть на жизнь и чувствовать себя счастливым каждый день.

- Энн Ламотт



- Маленькие победы

- Прелюдия. Круг почета

- Спутники

- Книга радушия

- Лестницы

- Прощенная

- Путевые вешки

- Радость миру

- Пары

- Семьи

- Пища

- Папа

- Прах и пепел

- Эта собачья жизнь

- Мама

- Мама

- Бразермен

- Воздушное

- Лыжный патруль

- Постучаться в дверь небес

- Милый старый друг

- Строительство амбара

- Падать лучше

- Земля

- Голоса

- Окорок божий

- Последний вальс

- Пираты

■ Маркет-стрит

○ Благодарности

Энн Ламотт

Маленькие победы. Как ощущать счастье каждый день

*Моим ребятам – Сэму, Джексу,
Стиву, Джошу и Тайлеру Ламоттам
и Мэйсону Риду. Без вас я обречена.*

Anne Lamott

SMALL VICTORIES: SPOTTING IMPROBABLE MOMENTS OF
GRACE

Copyright © 2014, Anne Lamott. All rights reserved

Перевод на русский язык Э. Мельник
Художественное оформление П. Петрова

Что вы узнаете из этой книги

1. Когда радушие становится вопросом жизни и смерти? – см. главу «Книга радушия»

2. Почему труднее бывает принять благодарность, чем помочь человеку? – см. главу «Книга радушия»

3. Как пережить трагические моменты жизни, или Кому полезна скорбь? – см. главу «Лестницы»

4. Что обретаешь, пройдя через великие потери? – см. главу «Лестницы»

5. Почему труднее всего простить самого себя? – см. главу «Прощенная»

6. Куда могут завести нас благие намерения? – см. главу «Путевые вешки»

7. Что ищет на сайте знакомств самодостаточная женщина, подчеркивающая свою независимость? – см. главу «Пары»

8. Кому обжорство заменяет любовь? – см. главу «Пища»

9. Как превратить обиду на давно умершего отца в прощение: его и себя? – см. главу «Папа»

10. Когда надо умерить любовь к собственному ребенку? – см. главу «Прах и пепел»

11. Как вновь обретается потерянная любовь к матери – давно ушедшей, но не прощенной? – см. главу «Норат»

12. Как усталость от самого себя может привести к благодати? – см. главу «Бразермен»

13. Какое чудо способно предотвратить авиакатастрофу? – см. главу «Постучаться в дверь небес»

14. В чем смысл и истинная радость старости? – см. главу «Милый старый друг»

*Уж никнуть начали головки роз.
Пчела, что золото свое сбирала день-деньской,
Найдет себе шестиугольник для ночлега.*

*А в небе вереницы облаков,
Последних птиц метанья,
Акварель на горизонте.*

*Лицом к стене уселся белый кот.
И в поле конь задремывает стоя.*

*На деревянном столике свечу затеплю.
И пригублю еще вина.
Возьму я в руки нож и луковицу.*

*А прошлое и будущее? – что ж,
Дитя всего лишь о двух разных масках.*

Билли Коллинз, «Вечером»

Маленькие победы

Прелюдия. Круг почета

Худшее, что можно сделать, когда сама хандришь, не находишь себе места от беспокойства, пынешь праведным гневом невинной жертвы или зеваешь от скуки, – пойти на прогулку со смертельно больной подругой. Она все испортит окончательно.

Прежде всего такие люди не считают себя умирающими, хотя это явствует из сканирования и деликатных отчетов врачей. Просто живут – как могут и сколько отпущено. И бывают благодарны за каждый подаренный день – в то время как ты беспокоишься, насколько поредели твои ресницы и раздалась пятая точка.

Моя подруга Барбара к тому весеннему утру, когда мы отправились на прогулку по лесу Мюира, уже два года жила с болезнью Лу Герига. Она перепробовала все, пытаясь остановить волну разрушения; увидев ее с четырехколесными ходунками, нуждающуюся в компьютерном голосе по имени Кейт на базе *iPad*, можно было подумать, что болезнь берет верх. Но помимо тяжелого заболевания, приводящего к атрофии мышц и полному параличу, у Барбары имелись глубокий интеллект, великая любовь к природе – и Сюзи.

Сюзи, верная возлюбленная на протяжении тридцати лет, обеспечивала ей несправедливое преимущество перед всеми: и мы стали бы великими, если бы у нас была Сюзи.

Барбара была исполнительным директором *Breast Cancer Action*, организации «скверных девчонок», борющихся против рака груди – с откровенно неприязненным отношением к «розоволенточному» подходу. Сюзи играла роль уравнивающего фактора, и я за эти годы не раз выступала на их праздниках и мероприятиях по сбору средств. Барбара и Сюзи были примерно одного роста, обе – с короткими темными волосами. Они выглядели как кузины – дружелюбные, добрые, интеллигентные.

Теперь же лицо Барбары стало застывшим – маска, некий предмет, в который бьет сильный ветер; она сильно потеряла в весе. Однако прежней оставалась ее улыбка – милая, теплая, чуть ироничная.

Мы тронулись в путь. Барбара была вожаком, лидером гонки – единственным человеком на колесах, разведывающим сложности маршрута: от этого зависела наша жизнь. Сюзи следовала за ней по пятам. Я шла замыкающей.

На тропе, ведущей сквозь эти леса, ощущается дикость природы. Деревья настолько огромны, что невольно умолкаешь;

они, как мифические животные, излучают невиданную энергию.

Мы втроем обедали в городе двумя месяцами раньше – до болезни, питательной трубки и Кейт. Барбара и тогда пользовалась ходунками, которые выглядели как компактная магазинная тележка и позволяли передвигаться в нормальном темпе. В то время она еще ела вилкой, а не через трубку, и разговаривала – настолько тихо, что порой приходилось обращаться к Сюзи за переводом. Барбара говорила о своем блоге благополучия – и о потребности в дополнительном питании. Дыхание, питание, голос; дыхание, питание, голос. (Она время от времени публиковала в своем блоге список операций, которые пока еще может выполнять; из недавних: «радоваться колибри; спать со своей любимой. Выступить в защиту людей с раком груди».)

Теперь она безмолвна. Когда хочет поговорить, может набирать слова на планшете, которые металлическим голосом произносит Кейт. Она знает, что постепенно жизненные соки уходят из нее. Когда ходишь по лезвию ножа и знаешь, что дальше будет только хуже, – упиваешься сегодняшним днем. И вот мы здесь, у начала маршрута, на прогулке в холодный день.

Когда ходишь по лезвию ножа и знаешь, что дальше будет только хуже, – упиваешься сегодняшним днем.

Я – ходок быстрый, поскольку у моего отца были длинные ноги и я научилась не отставать, но сегодняшняя прогулка с Барбарой напоминала картинку «Мамочка, можно? Можно я сделаю тысячу крохотных шажочков?». Барбара, судя по сосредоточенному виду, настраивалась на единение со всеми нависающими над тропинкой сплетенными ветвями. Не могла растрачиваться на бессмысленный лепет, поскольку вначале приходилось набирать текст. Что избавляло от пустой трескотни.

Эта роща – музыкальная. Красные деревья похожи на органные трубы, берущие безмолвные аккорды. Сюзи указывала на птиц, которых знала, и убирала немногочисленные препятствия с нашего пути. Сюзи – крепкая опора, несущая стена. Она не из тех, кто говорит: «Я совершаю удивительные поступки», – просто помогает себе и Барбаре комфортно существовать в дуэте. Она полна лукавого юмора, но без ернической остроты.

Я бывала в лесу Мюира сотни раз, с самого раннего детства. Именно сюда родители водили гостей, но пятьдесят лет назад все было по-другому. Родителям было страшно, когда пропадал ребенок, но им не приходила в голову мысль, что он мертв. Я боялась всегда, ибо терялась так часто, что до семи лет к моей

верхней одежде булавкой прикалывали записки – маленькие визитные карточки с именем, номером телефона и примерно таким текстом: «если найдете, верните, пожалуйста» – точно я была каким-нибудь портфелем. Я терялась всю жизнь; может быть, чаще, чем большинство людей, – но всегда оказывалась найденной. Несмотря на то что верю в бессмертие души, я боюсь, потому что Барбара умрет и Сюзи останется совершенно одна.

Мне нравятся строки Уэнделла Берри: «Когда мы не знаем, что делать дальше, начинается истинная работа; когда не понимаем, каким путем идти, – истинное путешествие. Разум, не сбитый с толку, не старается мыслить. Лишь тот ручей поет, на чем пути пороги».

Когда мы не знаем, что делать дальше, начинается истинная работа; когда не понимаем, каким путем идти, – истинное путешествие. Разум, не сбитый с толку, не старается мыслить

Во мне много веры – но и много страха.

День выдался настолько холодным, что в лесу Мюира витало не так уж много ароматов: день был хрустяще сладостным. Мы шли по тропе, точно дети – настолько медленно, насколько возможно.

Завернули за первый поворот, *вр-р-рум*. Мы с Сюзи разговаривали – ни о чем конкретном. Барбара указала на свое ухо, и мы остановились, чтобы прислушаться: к звону ручейка, к голосам воды. Слышался контрапункт птичьей трели, песни человека и журчания ручейка: «Идите дальше, все просто идут дальше. Вы не сможете остановить ни меня, ни что-либо другое».

Мы шли в ногу с Барбарой, державшейся за свое транспортное средство, – и я чувствовала, что впитываю те качества, которые Барбара приносила в этот день, преисполненный радости. Гигантские секвойи были полны застывшей музыки; казалось, они вырядились в юбки из капа и молодой поросли. Я спросила Барбару и Сюзи:

– А если задрать эти юбки, что получится?

Барбара указала в ответ на вывороченное дерево: корни, покрытые мхом и чем-то вроде мшистого коралла; оно похоже на осьминога. Одни стволы были узловатыми и мускулистыми в своих юбках со множеством оборок, другие предоставляли каповые кресла для того, кому понадобится присесть.

Деревья были похожи на толпу прихожан. Когда мы шли под нависающим зеленым миром, во все стороны раскинувшим наросты и побеги, я испытала мгновенный приступ паники при мысли о неминуемой смерти Барбары – и, возможно, своей

собственной. Мы все умрем! Это ужасно! Я не согласна. Как жить, зная это? Левой, правой, толкай и толкай свои ходунки...

Когда моему сыну было лет шесть-семь и он осознал, что мы с ним не умрем в один и тот же момент, он немножко поплакал, а потом заявил, что если бы знал это, не согласился бы родиться.

Барбара смотрела на меня – мы изучали друг друга, как деревья. Она никогда не пользовалась своей неподражаемой улыбкой, чтобы втереться в доверие. Это такая редкость! Мы ускорили шаг и выкатились из-за следующего угла, двигаясь со скоростью одной мили в час: Сюзи упомянула, что им нужно вернуться в Сан-Франциско на назначенную встречу. Город казался очень далеким, точно был на другой планете. Мы миновали огромную выставку каповых наростов в толстом, покрытом рябью потоке, словно остановленном в нисходящем движении, как сель или лава. Один наплыв выглядел точь-в-точь как медвежонок. Папоротники напоминают о доисторических временах – за ними прятались динозавры. Они элегантны, упруги и жизнерадостны, как перья в женской шляпке.

Я спросила Барбару:

– Ты часто боишься?

Она пожала плечами, улыбнулась, остановилась, чтобы набрать ответ на компьютере, и нажала кнопку «отослать». Кейт произнесла: «Не сегодня».

Блестящие лавровые деревья такие гибкие – в отличие от некоторых людей, например меня. Они – искатели света и солнца: когда окажешься в лесу этих могучих великанов, порой приходится брыкаться на манер дикого осла, прорываясь сквозь узкую щель между гигантами.

Мы уже почти добрались до конца тропы. Я всегда любила смотреть здесь на иностранок на высоких каблуках, говорящих по-русски, по-итальянски, счастливых, как птички. Пусть у них на родине есть Санкт-Петербург или Сикстинская капелла, зато у нас есть этот собор. Кто знает, какие трагедии оставили эти веселые туристы у себя на родине? Не бывает жизни без тяжести и грязи. Большинство старается как может – и кое-что получается, и мы хотим освободиться от того, что не получается и никогда не получится. В список вещей, которые пока еще может делать, Барбара включила следующее: «Подстригать ногти очень большими кусачками, слушать песни у себя в голове, наслаждаться бейсбольным матчем, если выигрывают «Джайентс» или «Ориолс» («Сан-Франциско Джайентс» (*San Francisco Giants*) и «Балтимор Ориолс» (англ. *Baltimore Orioles*) – профессиональные бейсбольные клубы)». Сделать так, чтобы все это получилось – благодать, не сделать – благодать в квадрате. Это намного лучше,

чем отстраненное мученичество, которое отвратительно.

Барбара и Сюзи на такое не подписывались, нет. Не обошлось без ошибок: они планировали проводить как можно больше времени в Йосемити, в театре, в Мендосино – и помогать женщинам с раком груди. Но были готовы переориентировать – и самих себя, и жизнь. Что совсем не просто: мы думаем, что куда-то прибыли, и это – верно. А потом происходит некий крах, и мы оказываемся в совершенно иной реальности – будто переоделись в вещи, которые жмут. Однако сущность осталась прежней – пластичной и текучей. Все, что мы теряем, – это всего лишь вещь, в которую не нужно вцепляться мертвой хваткой. Было – и сплыло. Мы можем ее оплакать, но не обязаны ложиться с ней в могилу.

Барбара указала на пичужку настолько крохотную, что мы с Сюзи ее поначалу не увидели в хворосте и палой листве. Она была здесь единственным движущимся существом кроме нас. Мы углядели это крохотное прыгающее существо, услышали тонюсенький звонкий писк – и присели в реверансе восторга.

Большая лавровая арка над землей была нашей последней остановкой в пути. Она формировала полный округлый пролет, выгибаясь дугой над тропой, тянулась к солнцу и касалась земли на другой стороне. Интересно, подумала я, она так и будет виться поверх лесной подстилки, неотвязно следуя за светом? На ней не было ни единого листочка, словно все жизненные силы были потрачены на выгибание. Барбара подкатила к ней, улыбнулась и изобразила рукой арку, словно приветствуя ее.

Спутники

Книга радушия

Непременно должна была существовать книга – где-то там, в куче засаленных рукописей, – которая каким-то образом выскользнула из окончательных гранок Библии. Глава, посвященная тому, как возродиться после критического сеанса в Эдеме и обрести ощущение, что мы по-прежнему желанны на этой планете. В Писании есть моменты, где Бог радуется людям, но такие пассажи – редкие пташки. Вероятно, трезвые головы рассудили, что избыточная доброжелательность превратила бы всех в маменькиных дочек – и предпочли ей повествования о массовых бойнях, изгнании и позоре.

А между тем книга радушия учила бы нас, что власть и статусность никого еще не спасли; что радушие – его предложение и принятие – и есть источник безопасности. Разные главы и стихи этой книги напоминали бы, что мы желанны, а время от времени даже приносим радость, несмотря на прискорбную истину о том, что мы – алчные самопотакатели, чрезмерно склонные к осуждению и нередко истеричные. Как бы то ни было, книга «пропала». Или в процессе размышления над каноническими списками из Иерусалима и Александрии редколлегия епископов своевольно отклонила ее. И теперь мы должны написать ее сами.

Книга радушия учила бы нас, что власть и статусность никого еще не спасли; что радушие – его предложение и принятие – и есть источник безопасности.

С чего бы начать – учитывая, что нас явно не ценят такими, какие мы есть: высокомерные замкнутые личности из дома собственного детства? Начну со своего первого воспоминания.

Мне три года, я в нашей семейной хижине в Болинасе, еще до того, как этот городок превратился в общину контркультурных художников. Бабушка и дедушка уплатили две тысячи долларов за деревенский дом с одной комнатой, откуда были видны океан, горизонт и риф под ним.

Мои бабушка и дедушка, которые колесили по миру, трудясь на ниве христианского миссионерства, привезли из своих странствий штук восемь мексиканских колдовских масок из дерева и развесили их по стене хижины. У каждой были дьявольские глаза, обведенные белой краской, которые светились в темноте. И клыки. Я уже тогда начала делать карьеру человека, страдающего пожизненной бессонницей; лежа без сна или

просыпаясь, видела яростный блеск этих глаз и зубов – и ужас пробирал меня до печенок. Помню, когда родители ворчливо пытались успокоить меня среди ночи, я указывала на эти маски как на источник ужаса. Они говорили всякие утешительные слова типа «Ох, ради бога, Энни, это же всего лишь маски!» Но слова не помогали мне уснуть. Поэтому я переползала на ту сторону койки, где спал мой старший брат, и отключалась. Мое присутствие будило его. Он сталкивал меня обратно на мой край кровати – но я потихоньку перетекала обратно, точно зеленая слизь. Он отпихивал меня ногами. Я возвращалась. Тогда он принимался меня бить. Теперь-то я понимаю, что меня ударил бы любовью.

Иногда я даже просыпалась с воплями от этих кошмаров в хижине – в силу чего становилась еще милее окружающим. Мне даже дома снились сны, в которых маски отыскивали меня – за десять городов от хижины; снился сон, в котором мать оборачивалась от плиты с лопаткой в руке, ее глаза *санпаку* блестели из-под маски *бруха* с пеньковыми волосами. Но маски оставались на стенах. Почему родители или бабка с дедом не заменили их чем-нибудь, что рождало бы во мне чувство безопасности, – скажем, вставленными в рамки картинами Одюбона? Я продолжала бояться их и в восемь, и в девять лет – и по-прежнему не могла спать. К тому времени у меня начались мигрени, я чувствовала себя сумасбродной и заброшенной.

Реальность состоит в том, что большинство из нас прожило первые десятилетия, чувствуя себя желанными лишь тогда, когда выполнялись определенные условия: родители ладили между собой, а мы вели себя как паиньки, хорошо учась в школе, не создавая проблем и имея минимальное количество потребностей. Если же тебе требовалось от них нечто большее – удачи!

Большинство из нас прожило первые десятилетия, чувствуя себя желанными лишь тогда, когда выполнялись определенные условия: родители ладили между собой, а мы вели себя как паиньки, хорошо учась в школе, не создавая проблем и имея минимальное количество потребностей.

Не легче и от того, что наша планета не так гостеприимна, как хотелось бы надеяться.

Вначале была имплантация – то ли наилучшая вещь, то ли наихудшая, – затем Бог или жизнь занялись неким вуду-вязанием, создавая каждого человека. Мы пришли в этот мир один за другим. Следующее, что осознается: мы сидим за одним обеденным столом с заблуждающимися и несчастливыми людьми

– то уже пьяными, то такими, которым следовало бы напиться, – имеющими проблемы с гибкостью и не имеющими никаких границ. Эти люди, кажется, из кожи вон лезли, стараясь дать нам понять, что мы – не те дети, которых они имели в виду. Ты подрываешь их благие намерения своей странностью и плохой осанкой.

Им нравилось думать, что их любовь безусловна. Как мило! Только вот печаль: ребенок, который садился за стол, был не тем ребенком, которого они задумали сделать. И всякий раз они заново изумлялись.

Родители попросту воспроизводили то, чему научились, когда сами были маленькими. Это система.

И не то чтобы возникало ощущение, будто ты для них чужой или нудная обязанность. Просто становилось понятно, что надо неустанно следить за их настроениями, уровнем психического здоровья, растущим раздражением и объемами потребленного пива. Да, во все этом был вкраплены и приятные воспоминания – о пикниках, домашних любимцах, пляжах. Но напомним, что непоследовательность – это именно то, с помощью чего экспериментаторы сводят с ума лабораторных крыс.

Может быть, они знали, что ребенок следит за ними, видит их насквозь, понимает, насколько они безумны, нестабильны и отстранены. Мы знали их интимные запахи и звуки, места уязвимости – точно маленькие шпионы. Целью игр в пятидесятые и шестидесятые годы было то, чтобы никто не догадался, кто ты на самом деле. Мы, дети, были свидетелями тотального притворства в том, какими родители хотели казаться миру. Мы помогали им поддерживать эту личину, ибо если бы кто-нибудь за пределами семьи смог увидеть, каковы они на самом деле, вся система – семейная лодка – могла бы пойти ко дну. Мы задерживали дыхание, чтобы обеспечить лодке плавучесть: были маленькими воздушными цистернами.

Глубоко в душе они знали, что являются маниакально-депрессивными личностями, но им хотелось, чтобы другие видели в них хороших родителей, таких мирных воинов, рабочих пчел и активистов, которые делают мир безопасным. Дети знали об их дурных характерах и пороках – но жили под заклятием чародея, а также под постоянной угрозой изгнания или голода.

Светлой же стороной было то, что поскольку мир, в который мы пришли, был алкоголическим, больным, травмированным и травмирующим местом, нам было выдано на руки руководство пользователя по обращению с безумием. Мы знали, как надо хранить тайны. К тому же в комплекте с родителями прилагались их братья и сестры, которые обожали нас, потому что мы не были

их детьми. Вот они-то по-настоящему мне нравились. Стоило переступить порог, как на лицах дядюшек и тетюшек расцветало счастье. А вот и она! Это же Энни! Разве она не лапочка? То, как они смотрели на меня – с удовольствием и любопытством, – показало мне, как выглядит любовь.

Близкие друзья меня обожали, однако я боялась постоянно и всего: людей, неудач, сексуальных поступков, о которых думала, или совершала, или хотела совершить. Я развила в себе мощный шарм, юмор и сообразительность – чтобы отогнать демонов. Но они всегда возвращались.

Их любовь была надежным убежищем в опасные для жизни подростковые годы. Никто на земле не чувствует себя менее желанным и более искалеченным, чем подростки. Алкоголь был необходим для того, чтобы я хоть немного была «в порядке». До того как открыла для себя выпивку, мне казалось, что я невидима для красивых людей, находясь при этом под постоянным присмотром: родителей, учителей и, что самое ужасное, – своим собственным. Близкие друзья меня обожали, однако я боялась постоянно и всего: людей, неудач, сексуальных поступков, о которых думала, или совершала, или хотела совершить. Я развила в себе мощный шарм, юмор и сообразительность – чтобы отогнать демонов. Но они всегда возвращались.

Учителя начали приветствовать меня, почти как друзья, потому что я была умненькой, веселой и отчаянной. Всячески подбадривали меня, когда я чувствовала себя особенно безнадежной неудачницей, а еще давали книги, в которых содержался главный секрет жизни: все люди чувствуют себя одинокими, обиженными, изуродованными, чуждыми и отравленными. Отравленной-то я и была. И все великие писатели пили, за исключением Кафки и Ницше, а когда вырастешь, не особо хочется стать ни тем, ни другим.

Колледж подарил мне друзей (некоторые из них так и остались близкими) – наряду с чувством политической и творческой цели, от которого я не отклонилась. Но в какой-то момент пришлось уйти и пытаться как-то построить жизнь. Остальное известно. Катание на призрачной карусели взрослости, назойливая музыка, кричащие краски, головокружение от побед и скрытые опасности взрослой жизни.

Высокая производительность всегда улучшала обстановку. Помогала и ужасная занятость, но, конечно, не так хорошо, как алкоголь или секс, предпочтительно – в сочетании.

Потом, когда мне перевалило за тридцать, система

рассыпалась в прах. Я стала трезвенницей, потому что еще раньше съехала с катушек. Несколько женщин в городке протянули мне руку помощи. Я рассказывала о своих самых порочных поступках, а они говорили: «И я тоже!» Я рассказывала о своих преступлениях против невинных, в особенности – против себя самой. Они говорили: «Ну, еще бы! Ура. Добро пожаловать!» Казалось, я просто не могла заставить их отвергнуть себя. Это стало сперва кошмаром, потом – спасением.

Оказывается, радушие – это солидарность. Мы рады, что ты здесь, и мы с тобой. В самом начале периода трезвости я узнала, что существуют две точки зрения на меня: какой меня видят близкие друзья и какой я вижу себя сама. Я-то считала, что всем очевидно: я – мошенница, притом довольно отвратительная. А друзья считали меня неотразимой, всерьез достойной доверия. Поначалу я решила, что одна из этих точек зрения непременно должна быть неверной, и приняла радикальное решение: поверить – на некоторое время – своим друзьям. Приняла свое достойное любви «я» обратно, устроив скромную вечеринку: только кошка, я и воображаемые чашки с чаем, которые я поднимала, отставив в сторону мизинчик.

Это радушие по отношению к самой себе потребовало значительной перестройки, повторной балансировки собственной души. Я чувствовала, что получила письменное разрешение на большую научную командировку в собственное сердце, под защиту нескольких доверенных друзей.

Честно говоря, надеялась увидеть больше белых скал и пляжей, меньше трясин и теней – но то была реальная жизнь, природа вещей, полная одновременно чудес и гнили.

Как только я стала на это способна, друзья побудили признать заблудшую, темную часть себя. Я пригласила ее к себе: займи место за столом, родная. Сегодня на ужин супчик.

Итак, наши родители были обломками сошедших с рельсов поездов; мы разрушаем землю; дети то и дело умирают. Как понять, что остается нечто радужное, порой скрытое – но такое, чему по-прежнему можно доверять? Когда кажется, что все потеряно, сгодится пара-тройка друзей, красивый вид и редкие отчаянные моменты благодати. Ничего другого я не знаю.

Я обнаружила, что радужное отношение здорово помогает – особенно к людям, глубоко неприятным или странным. Оно исцеляет обоих.

Я обнаружила, что радужное отношение здорово помогает – особенно к людям, глубоко неприятным или странным. Оно исцеляет обоих. И лучше всего работает, если выбрать целью тех

членов общества, которые, похоже, не нужны никому другому. Оп-па – и радушие уже существует в тебе.

Ты нужна нам, такая какая есть. Можешь в это поверить? Входи же, присаживайся. Дай-ка я налью тебе славную чашечку чаю. Хочешь пирожное с лаймовым соком?

С того момента, как я стала трезвенницей и начала помнить сны, старая хижина стала декорацией для большинства снов, в которых принимала участие моя семья. Это основание для обеденного стола, для саги о межпоколенческом недуге, о психическом нездоровье и скрытности. В моем «любимом» сне фигурировал семейный обед многолетней давности, во время которого мои выросшие братья собрались за трапезой у обеденного стола вместе с нашими родителями, живыми и здоровыми. Хижина выглядела так, будто ее сотворила Лора Эшли – с покрывалами на выдвижных койках, с салфетками на стульях. Однако как ни печально, кто-то притащил в дом собачьи какашки и измазал ими все коврики и покрывала. Младший брат перегнулся через стол и прошептал мне на ухо: «Какое это было бы уютное местечко, если бы не дерьмо повсюду».

Я не знала, как поскорее освободиться от людей-судей, от того, как они смотрят, одеваются, разговаривают, поэтому не могла перестать осуждать себя

Для меня этим сказано практически все. Я уверена, что у вас была прекрасная семья, и если это так – не берите в голову. Но мне так долго не хватало книги радушия! Я не знала, как поскорее освободиться от людей-судей, от того, как они смотрят, одеваются, разговаривают, поэтому не могла перестать осуждать себя. Я не знала, что радушие – вопрос жизни и смерти. Посмотрите, как часто одинокие люди убивают себя или других. Поглядите, какую расточительную и жалкую жизнь ведет большинство людей.

До недавнего времени я не различала знаков радушия – например, как человек плюхается напротив меня за столик и глубоко вздыхает, глядя на меня с облегчением; или стеснительный взгляд на чьем-нибудь лице, который дает мне время перевести дух и успокоиться. Не знала, что раны и шрамы были тем, что мы находим желанным в других – ибо они подобны нашим собственным.

Уловки и чары изнашиваются, выяснила я. Книга радушия гласит: позволь людям разглядеть тебя. Они увидят, что у тебя красивые руки – нежные, чистые и теплые, – и станут видеть те же качества в собственных руках, хотя бы иногда. Это называется –

иметь друзей, выбирать друг друга, быть найденным, выуженным из каменных обломков. Просто крышу сносит – как же случилось такое удивительное событие: я в твоей жизни, ты в моей!

Две части стыкуются. Такое случается не так уж часто, но когда случается, то ощущения – самые феерические. И это способно сделать из тебя верующего. Конечно, жизнь время от времени катится в тартарары. Налетают холодные ветры и щиплют тебя; дождь заливает за воротник; наступает тьма. Но теперь вас двое. Святые угодники!

Книга радушия гласит: не испорти! И вот два канонических правила: не нужно душиться маслом пачули (мы по-прежнему тебя любим, но сидеть рядом с тобой не хотим), и единственное оправдание, позволяющее принести за обеденный стол сотовый телефон, – ожидание звонка с сообщением, что врачи добыли необходимый орган для предстоящей тебе трансплантации.

В возрасте шестидесяти лет я наконец осознала, что меня в детстве не научили говорить «добро пожаловать», – и начала задумываться о том, как эта привычка укрепила мое чувство отчужденности. Когда я росла, девочек учили преуменьшать то, что они отдавали, количество времени и тяжелого труда, которое это даяние потребовало. Поначалу на твой поступок могли даже не обратить внимания, потому что люди рассчитывали, что ты будешь для них что-то делать. Им казалось, что они вправе получать щедрые дары. Так что это было двойное самоотречение: твой жертвенный акт великодушия не замечали первые четыре раза, а потом, когда ты, наконец, слышала слова благодарности, учили отвечать: «Не стоит благодарности». Или: «Вы на моем месте сделали бы то же самое». Мне только в радость это сделать. *Пустяк, безделица.*

Если великодушие – безделица, что же тогда – дело?

Теперь я заставляю себя принимать благодарность. Смотрю человеку в глаза и великодушно говорю: «Всегда пожалуйста». Иногда касаюсь его щеки тыльной стороной пальцев. Эта простая привычка изменила меня.

Теперь я заставляю себя принимать благодарность. Смотрю человеку в глаза и великодушно говорю: «Всегда пожалуйста». Иногда касаюсь его щеки тыльной стороной пальцев. Эта простая привычка изменила меня.

Например, сегодня утром мне снилось, что я в хижине, пакую вещи перед переездом. В это самое утро, Бог свидетель, мне казалось, что я одна, но мой младший брат то и дело заглядывал ко мне, чтобы помочь с переездом, выгружая мебель и книги в арендованный грузовик. Он довез меня до нового коттеджа,

неподалеку от Агате-Бич, где мы проводили детство, гуляя с родителями, выискивая морское стекло и окаменелые куски китовых костей, вглядываясь в лагуны, иногда падая в них. Новый коттедж был теплым, с таким характерным обветшалым шиком, но всякий раз, как мы возвращались к старой хижине, чтобы загрузить очередную партию вещей, сердце мое щемило от мысли: каким замечательным маленьким домом она была. Выгрузив ящики с книгами из грузовика, мы забрались в мой «фольксваген-жук» 1959 года, и я повезла брата на собрание алкоголиков-трезвенников в старой городской библиотеке. Там были знакомые истертые полы из твердого дерева, и свечи, и похожие на настоящие пластиковые цветы, какие видишь на буддийских алтарях. На парковке мужчина торговал *восемнадцатью* разновидностями живых желтых цветов с грузовой платформы. Потом древняя немка, которой я поднесла покупки, потому что она казалась слишком хрупкой, открыла мой «фолькс», резко вывернув дверную ручку, которую, очевидно, заклинило. И сказала мне: «О, это порой случается и с моими машинами. Некоторое время все будет в порядке. Спасибо вам за помощь».

Я сказала: «Всегда пожалуйста». И проснулась.

В мае 1992 года я поехала в Икстапу с сыном Сэмом, которому было два с половиной года. В то время моя лучшая подруга Пэмми уже два года боролась с раком груди. У меня также был бойфренд, с которым я разговаривала по два-три раза в день, которого любила и который любил меня. Потом, в начале ноября того года, с небес спустился гигантский ластик и стер из реальности Пэмми, а заодно и бойфренда, с которым я рассталась по взаимному согласию. Печаль моя была огромна, монолитна.

Все эти годы я покупалась на великую ложь о том, что со скорбью следует справиться как можно быстрее и приватнее. Но тогда же узнала, что вечный страх скорби удерживает нас в пустыне, в изоляции: лишь глубокая скорбь ведет к исцелению. Течение времени ослабит ее остроту, но без непосредственного переживания не исцелит. Сан-Франциско – скорбный город, мы пребываем в скорбном мире, и это одновременно и нестерпимо, и создает великую возможность.

Я совершенно уверена: только переплыв океан печали, мы приходим к возможности исцелиться.

Я совершенно уверена: только переплыв океан печали, мы приходим к возможности исцелиться, то есть – к переживанию жизни с истинным чувством присутствия и покоя. Я начала учиться этому, когда мы с Сэмом вернулись на тот же курорт через три месяца после смерти Пэмми.

Я снова привезла туда сына отчасти из соображений чередования. Однако на сей раз он был иным. Мы оба были иными. Я обнаружила, что едва способна жить без Пэмми. Всякий раз, приходя к ней домой, чтобы провести ее дочь Ребекку, я слышала флейту Пэмми, отчетливо вспоминала желтизну ее волос, ощущала, как ее присутствие меня преследует. Это было похоже на жаркий желтый день, который Фолкнер описывает в «Свете в августе» как «сонно разлегшегося желтого кота», разглядывающего рассказчика. В любой момент кот может внезапно прыгнуть.

А еще я в то время была немного зла на мужчин и напугана; в послевкусии романтической утраты сердце мое ощущалось, будто окруженное забором. Теперь Сэм, казалось, стоял со мной за этим забором; похоже, он чувствовал себя в безопасности только рядом со мной. Он был мил и дружелюбен, но сделался стеснительнее, перестав быть тем общительным мотыльком,

каким порхал годом раньше, когда Пэмми была жива. Тогда я могла оставить его на целый день в детской группе отеля. На этот раз он лип ко мне с ярко выраженной «эдиповостью». Я начала называть себя Иокастой; он меня – «милая».

В первый год я приехала сюда одна, с Сэмом. Я в основном плавала и ела одна, входила в столовую трижды в день, стесняясь и ощущая себя не в своей тарелке – съездившейся, с прижатыми к бокам руками, как у Пи-Ви Германа. Но в этом году я была со своим другом Томом, крайне забавным иезуитом и алкоголиком-трезвенником, который годами пил и ежедневно покуривал – не до привыкания – марихуану. Он также баловался некоторыми химическими препаратами – как он говорил, чтобы лучше узнать людей.

Его лучшая подруга Пэт тоже была с нами. Я обнаружила, что с трудом способна терпеть людей, у которых есть лучшие друзья – притом еще живые. Но когда мы завтракали с ними в аэропорту тем утром, когда отправлялись в Мексику, они рассмешили меня и заставили забыть.

Пэт – очень красивая женщина около пятидесяти, с лишним весом примерно в сотню фунтов, трезвенница с семилетним стажем.

– У Пэт масса проблем, – сообщил нам Том за завтраком.

– Верно, – подтвердила Пэт.

– Она блюла трезвость семь лет, – продолжал Том, – пока ее муж не заболел раком мозга. Потом несколько лет она каждый день употребляла по чуть-чуть тайленола с кодеином, только в компании, и самую капельку найквила от простуды, которая ну никак не желала проходить.

– Я была немного расстроена, – пояснила она.

После завтрака мы полетели в Икстапу. Саманные гасиенды, мощенные булыжником дорожки, длинный белый пляж, пальмовые деревья, бугенвиллеи, теплые океанские воды – и никого дома в отчаянной надежде, что я позвоню.

Скорбь, как я где-то прочитала, – это «ленивая Сюзан». Сегодня она тяжела и скрыта, завтра принимается вращаться и останавливается на отметках «громогласная» и «разъяренная», через день – на оскорбленных причитаниях, через два – на отупении и безмолвии. Я охрипла в первые шесть недель после смерти Пэмми, и моя любовь пришла к концу из-за воплей в машине и слез, и у меня были волдыри на одной ладони от того, что я колотила по кровати теннисной ракеткой, завывая от боли и гнева. Но в то первое утро в Мексике «ленивая Сюзан» остановилась на чувстве ностальгии, похожем на то, которое я испытала, когда родители продали дом, где я росла.

Я проснулась раньше Сэма и лежала в кровати в прохладной белой саманной комнатке, полная воспоминаний о первом дне, проведенном здесь год назад. Я вспоминала, как звонила Пэмми и любовнику в то первое утро, как они ахали от удовольствия, услышав мой голос. Я лежала, думая на этот раз, что совершила ужасную ошибку, решив вернуться, что я не готова смеяться, играть или расслабляться – и гадала, есть ли у Бога еще один кролик, которого он мог бы вытащить из шляпы. А потом мой «эдипический» маленький сын проснулся, запрыгнул на мою кровать и некоторое время гладил меня по лицу, нежно приговаривая: «Ты красавица».

Год назад, когда я отводила его в соломенный загончик для малышей, мы ходили, держась за руки, и по дороге он радостно кричал: «Пывет, Небо, меня зовут Сэм! Я тебя юбью», – потому что не выговаривал буквы «р» и «л». «Пывет, Йистик! – радостно говорил он листьям. – Меня зовут Сэм. Я тебя юбью!» Казалось, это было очень давно. А в этом году он не отрываясь смотрел на меня с видом скорбного жениха и говорил: «Я хочу це'овать тебя в губки...»

На третий день в Мексике Том поведал мне, что Юнг сказал в какой-то момент после смерти своей обожаемой жены: «Мне дорого стоило восстановить опору под ногами. Теперь я волен стать тем, кто я есть на самом деле». И это самая что ни на есть божья истина: чем чаще я плакала в своем номере в Икстапе и чувствовала себя совершенно разбитой, тем чаще у меня случались мгновения высшей радости или осознания, что каждый миг сияет ради собственной преходящей сущности. Я больше не убеждена, что нам полагается непременно оправляться от смерти некоторых людей, но мало-помалу, бледная и с опухшими глазами, я начинала ощущать чувство принятия, ощущать, что понемногу начинаю принимать факт смерти Пэмми. Я позволила ему войти в себя.

Я была ужасно непредсказуема, иногда чувствуя себя настолько святой и безмятежной, что хоть встречайся с далай-ламой. А потом скорбь и безумие накатывали вновь – и я оказывалась в Разбитом Разуме и в завываниях.

Глубина этого чувства продолжала изумлять и угрожать, но всякий раз, когда оно накатывало и я его выдерживала, обнаруживала, что меня не смыло. Спустя некоторое время оно уже стало как внутренний душ, частично смывающий ржавчину и известковые отложения с моих труб. Это было все равно что хорошенько полить засохший сад.

Поймите, я не говорю, что скорбь не нужна. Однако,

избегая ее, вы крадете у себя жизнь и ощущение живого духа.

Поймите, я не говорю, что скорбь не нужна. Однако, избегая ее, вы крадете у себя жизнь и ощущение живого духа. В основном я старалась избегать ее, загружая себя до предела, слишком усердно работая, стараясь достичь большего. Нередко можно избежать боли, пытаясь «лечить» других; слегка помогает шопинг, как и романтическая одержимость. Непревзойденный вариант – мученичество. Хотя многим полезен избыток физической нагрузки, это не для меня, хотя я выяснила, что стопка журналов может притупить чувства и даже помочь изменить настроение.

Нередко можно избежать боли, пытаясь «лечить» других; слегка помогает шопинг, как и романтическая одержимость. Непревзойденный вариант – мученичество.

Скверно то, что любое средство, коим ты пользуешься, чтобы держать боль в узде, лишает тебя крупинок золота, которое дает ощущение скорби. Концентрация прекрасно помогает сохранять определенность и дарит иллюзию, что жизнь твоя не распалась. Но поскольку жизнь на самом деле распалась и иллюзия не продержится вечно, ты – как человек удачливый и храбрый – захочешь вытерпеть крушение иллюзии. Начинаешь плакать, извиваться, вопить, потом продолжаешь плакать, но скорбь когда-то приходит к концу, вручая тебе два своих лучших дара: мягкость и просветление.

Когда я забирала Сэма из детского клуба, казалось, будто он провел день на семинаре «Как пережить потерю матери». Я являлась, подобно восставшему Лазарю, – и радость ребенка была непомерной. Мы всегда останавливались, чтобы понаблюдать за игуанами, которые собирались на траве подле лагуны, – гигантские взрослые ящеры, словно вышедшие из «Парка юрского периода», и малыши из «Доктора Зюсса». Они были столь абсурдны и допотопны, что это было похоже на единение между тобой, ими и чем-то древним.

Мы проводили много времени и в номере. Там работал кондиционер. Сэм, серьезный и бдительный, часто заговаривал о том, как он в последний раз видел Пэмми – на Хеллоуин, за три дня до того, как она умерла. Он был одет как морское чудовище, сидел у нее на кровати, и они пели вместе «Братец Яков». Он вновь и вновь перебирал факты того вечера:

– Она была в пижамке?

– Да.

– А я был в костюме морского чудовища?

– Верно.

Я много думала о воздействии смерти Пэмми на Сэма, о собственных ошеломленных попытках сладить с ней, об озвучиваемой им каждые несколько дней тревоге – мол, если мама Ребекки могла умереть, то разве не может быть, что и его мама умрет? Я каким-то образом чувствовала, что единственное, что я могу ему предложить, – собственная готовность чувствовать себя плохо. Уразумела, что в конечном итоге тектонические пласты внутри меня сместятся и я почувствую уменьшение боли. Попробую «лечить», или отвлекать, или развеселить его, выманивая из депрессии, значило бы на самом деле оказать ему медвежью услугу. Я молилась о готовности позволить ему ощущать себя печальным и неприкаянным, пока он не перестанет с трудом пробираться сквозь растерянность и вновь не войдет в реку обыденности.

Солнце нещадно палило, часы медленно ползли под сонное урчание кондиционера. Я то и дело принималась плакать, потом задремывала. Иногда скорбь похожа на нарколепсию.

Однажды днем я тихонько плакала в номере, а Сэм дремал в своей кровати. Потом уснула глубоким сном. Проснувшись намного позже и обнаружила, что Сэм стоит у моей кровати, тянет меня за рукав и серьезно смотрит своими огромными вопросительными внеземными глазами. Он прокашлялся, а потом произнес фразу, как я догадываюсь, услышанную по телевизору. Вот что он сказал: «Прошу прощения, мистер...»

От этого заныло сердце. Я думала, что умру. В «Песне обо мне» Уитмен писал: «Прикоснуться своей личностью к чужой – почти максимум того, что я способен вынести».

На нашем курорте был мужчина с протезом вместо ноги. Я видела этот протез, лежащий рядом с бассейном, несколько раз до того, как увидела его самого, а когда это случилось, он взбирался по лестнице к трапеции на территории цирка. Занятия цирковой школы проходили на курорте каждый день в три часа, на лужайке между габионами и пляжем, в хитросплетении веревок, качелей и сетей. Этот мужчина, которого звали Стивом, был одет в шорты, и обрубок ноги на дюйм или два выглядывал из-под нижнего их края – и, должна сказать, это выбило все дерьмо из меня, стеснявшейся надеть шорты из-за целлюлита и растяжек.

Он взбирался по лестнице с такой развинченной грацией: асимметрично, но без неуклюжести, перекадина за перекадиной, сосредоточенно, ровно и медленно. Затем достиг платформы, надел страховку и закачался над страховочной сетью, зацепившись одной ногой за перекадину трапеции, раскачиваясь

туда-сюда – и наконец выпустил ее. Наставник на другой трапедии качнулся к нему, они поймали друг друга за руки, сцепились и некоторое время качались туда-сюда. Затем этот мужчина упал спиной в страховочную сеть и триумфально поднял сжатый кулак. «Да!» – выговорил он и долго-долго лежал в сетке, глядя в небо с затаенной улыбкой.

Я стеснительно подошла к нему за обедом на следующий день и проговорила:

– Вы были великолепны на трапедии. Вы собираетесь еще раз это сделать?

Мне думалось, что он может это сделать, а я – написать что-нибудь серьезное о духе, силе характера и победе. Но он сказал:

– Милая, меня ждут куда более высокие горы.

Непохоже, чтобы жизнь поддавалась мне, красиво укладываясь в коробочку – чтобы я могла написать о ней с мудростью и глубоким смыслом, прежде чем сунуть куда-нибудь на полку. Теперь, на этом этапе бытия, я разбираюсь в жизни достаточно, чтобы понять, что ни в чем особенно не разбираюсь. Мне показывают одного мужчину, взбирающегося по лестнице к трапедии, и лучшее, что я могу сделать, – это рассказать, что, когда я его увидела, он был очень сосредоточен и в прекрасном настроении.

На следующий день я увидела его пластиковую ногу, лежавшую на полотенце на дальнем конце пляжа, где происходили уроки виндсерфинга. О, боже, подумала я. Шнурок на дорогой кроссовке, надетой на ступню пластиковой ноги, был развязан. Я подошла и завязала его, а потом села рядом на песок. Мне очень хотелось расспросить его, как он лишился ноги и как снова встал на ноги – даром что одна из них теперь сделана из пластика. Я вспомнила, как за несколько месяцев до смерти Пэмми мы прочли строку великого персидского поэта-мистика Руми: «Где есть руины, есть надежда на сокровище». Мы с Пэмми говорили тогда о затонувшем корабле на дне океана, полном драгоценных камней и золота; он был там, в обостренном чувстве существования и священного, которое мы ощущали посреди разрухи, посеянной ее болезнью. Он был там, в невероятном чувстве безотлагательности и радости, которое мы ощущали в иные дни ближе к концу, колеся по торговым центрам и паркам, – Пэмми в своем инвалидном кресле, в парике, погоняющая меня голубым шелковым шарфиком. Я сидела на пляже в надежде снова увидеть этого мужчину, думая о том, сколь многое мы теряем – и сколь многое все же остается, но близился вечер, мне надо было идти забирать Сэма – и я ушла до того, как вернулся Стив.

Моя новая подруга Пэт почти каждый день пропадала в море, плавая с маской, и любила это занятие больше всех остальных, хотя из-за немалого веса никак не могла забраться обратно в лодку без посторонней помощи. Накануне отъезда из Мексики я тоже решила попробовать. Катер для ныряльщиков с маской отплывал в три часа дня и отвозил группу к небольшой бухточке в двадцати минутах хода через залив. Однако за обедом я начала трусить – и колебалась, пока Пэт не сказала, что я должна ехать, что она не будет со мной дружить, если я этого не сделаю.

– Тогда расскажи мне, что в этом нравится тебе больше всего, – предложила я.

Она немного подумала, и на лице ее появилось отсутствующее, почти чувственное выражение.

– Мне нравится выбирать парней, которые будут помогать заталкивать мое большое, мокрое, скользкое тело обратно по лесенке в катер, – медленно проговорила она.

В результате мы с Томом поехали вместе. Маленькая бухточка была скрыта мысом от пляжа с тростниковыми хижинами и зонтиками на белом песке; кактусы на соседних холмах обрамляли картинку. Мы надели экипировку и прыгнули. Вода здесь не кристально чистая, и миллиона ярко окрашенных рыбок тоже не видать, но если рай существует – а я думаю, что нечто такое имеется, – возможно, он похож на плавание с маской: сонный, мягкий, яркий, тихий.

Поначалу звук моего дыхания под водой был трудным и сдавленным, как у персонажа Кира Дулли в фильме «2001. Космическая одиссея», когда он висит в стручке за бортом корабля. Я парила сама по себе. Затем, в безмолвии, я некоторое время чувствовала, будто дышу вместе со всем остальным в мире. Это такая славная передышка от реальной жизни – когда не нужно ничего взвешивать. Прекрасные растения покачивались в течениях; мимо проплывали странные мелкие рыбешки.

Я грезила наяву о Пэмми. Ближе к концу она как-то сказала о своей младшей дочери: «Все, что мне нужно, чтобы по-настоящему расстроиться, – это подумать о Ребекке, и все, что мне нужно, чтобы по-настоящему обрадоваться, – это подумать о Ребекке». Я медленно парила в воде, плача; маска наполнилась слезами – не помешали бы дворники. Мне было очень одиноко. Я подумала: возможно, я не чувствовала бы себя так скверно, если бы настолько большие куски Пэмми не застряли во мне; а потом подумала: хочу, чтобы эти куски оставались во мне до конца дней, чего бы это ни стоило. Итак, я продолжала дрейфовать, по-

прежнему чувствуя себя одинокой – но уже не настолько сбившейся с курса. Я начала думать о Пэт, большой, толстой – и ощущающей себя достаточно комфортно, чтобы носить открытый купальник. Рассмеялась, вспомнив, что она сказала про лесенку, и нечаянно наглоталась воды. Я наблюдала, как маленькие рыбки всплывают в заросли перистых морских растений и всплывают из них, и думала о прекрасной, дикой, счастливой Ребекке. От этого у меня тоже защемило сердце, однако внутри стало капельку светлее. И как раз в этот момент ко мне подплыл, загребая руками, Том – и я осознала его присутствие рядом с собой, хотя никак не могла видеть его лица, и мы с ним долго-долго лежали там, как поплавки на поверхности воды: лицами вниз, затерянные в собственных мирах, едва шевеля ластами, бок о бок.

Прощенная

Я долгое время говорила всем, что не из тех христиан, которые одержимы прощением; я – из другой породы. Но несмотря на то что замечание было забавным – и соответствовало истине, – мне стало все болеее оставаться такой. Говорят, нас наказывают не за грех, а грехом: я стала чувствовать себя наказанной собственной неготовностью прощать. К тому времени как я решила стать одной из тех, кто всерьез одержим прощением, это было все равно что пытаться стать марафонцем в среднем возрасте: все во мне либо корчилося, словно отшатываясь от жаркого пламени, либо смеялось истерично. Я пыталась усилием воли заставить себя прощать разных людей, которые навредили мне за прошедшие годы либо напрямую, либо косвенно: четырех бывших президентов-республиканцев, трех родственников, двух прежних бойфрендов и одного учителя на грушевом дереве – и это был гибрид «Двенадцати дней Рождества» и «Таксиста». Но в конечном итоге смогла лишь притворяться, что простила их. Тогда я решила, что слишком высоко задрала планку. Как сказал К.С. Льюис в книге «Просто христианство», «если мы по-настоящему хотим научиться прощать, вероятно, лучше было бы начать с чего-то полегче, чем гестапо».

Говорят, нас наказывают не за грех, а грехом: я стала чувствовать себя наказанной собственной неготовностью прощать.

Итак, я решила поставить всех, с кем я когда-либо жила, спала или кто писал на меня рецензии, в список ожидания – и начать с того, кого ненавидела совсем недолго.

У меня какое-то время был враг («Враг. Упрощенная версия») – мать одного из детей, с которым Сэм учился в первом классе. Она была такой теплой и дружелюбной, что наверняка оторопела бы, узнав, что мы – враги. Но я, самозванный школьный консультант по этике, могу сказать, что так и было. Интуитивно я чувствовала, что она разведена и, возможно, одинока, но у нее были недобрые глаза. В первые недели школьных занятий она смотрела на меня как на растафарианку и уклонистку, а потом, спустя некоторое время, будто я – растерянный инопланетянин-звездолетчик. Кстати, готова признать, что у меня были определенные проблемы с адаптацией, когда Сэм пошел в первый класс. Я, казалось, никак не могла просечь фишку: слишком

многое надо было запоминать, слишком многое делать. Но первая учительница Сэма была так добра и снисходительна, что я просто не забивала свою хорошенькую головку расписаниями, домашними заданиями, орфографическими списками и прочими неприятностями. Да и в классе от меня особой помощи не было. У нас были все эти мамочки, которые всегда готовили лакомства для походов в тематические парки по выходным для всего класса; возили детей – включая и моего – на экскурсии и, кажется, читали все бумажки, присылаемые из школы родителям, что, на мой взгляд, немного отдаёт показухой. А ещё это давало им несправедливое преимущество. Они, к примеру, знали с первого дня, что среды – «минимальные» дни, когда занятия заканчиваются на полчаса раньше обычного, и щеголяли этим знанием, забирая своих ребятишек точно в нужное время.

Я каким-то образом исхитрилась дожить до октября, так и не уяснив этой своеобразной черты школьного расписания.

Наконец, однажды в среду я остановилась возле класса Сэма и обнаружила его – уже в который раз – рисующим вместе с учительницей. Та мягко проговорила:

– Энни, неужели вы не знаете, что по средам занятия заканчиваются на полчаса раньше?

– Ой... – отозвалась я.

– Неужели вы не получили документы, которые школа посылала этим летом?

Я пораскинула мозгами – и наконец действительно припомнила какие-то бумаги, пришедшие по почте из школы.

И вспомнила, что действительно собиралась их прочесть.

Сэм сидел за столом и рисовал с угрюмым, отстраненным видом.

Так вот, моя врагиня об этом узнала.

Она объявилась спустя два дня, затянутая в пуховую курточку, потому что было холодно, а она как раз была одной из тех родительниц, которые везли детей на экскурсию. Кстати, это было преступлением против природы, или против меня, или просто так, безотносительно. Преступление состояло в том, что ниже курточки-пуховичка виднелись велосипедные шортики из спандекса. Она носит «велосипедки» почти каждый день, и я скажу вам почему: потому что она это может. Потому что весит около сорока килограммов. Она ходила в спортзал почти каждый день с момента развода, и на ее теле нет ни унции жира. Я прямо-таки терпеть не могу эту черту в людях. Я считаю ее актом агрессии против нас – матерей, которые забыли о тренировках после того, как родились дети.

Ах да, и еще одно: на ее белом «вольво» до сих пор висит

наклейка с Рональдом Рейганом – спустя семь лет после того, как он покинул Белый дом.

В день экскурсии она ласково сказала:

– Я просто хочу, чтобы вы знали, Энни: если у вас появятся вопросы о том, как функционирует класс, я с удовольствием помогу вам.

Я улыбнулась в ответ. В голове вертелись такие ужасные мысли, что я не могу даже выговорить их вслух, потому что они заставили бы Иисуса возжелать хлебнуть неразбавленного джина из кошачьей плошки.

Эти мысли поставили меня на колени. Я молилась об этом. Я молилась – потому что мой сын обожает ее сына, а мой сын настолько добр, что одно это вызывает у меня желание стать лучшим человеком – человеком, который не ненавидит других только за то, что они носят велосипедные шортики из спандекса. Я молилась о чуде; я написала ее имя на полоске бумаги, сложила листок и положила в коробку, которую использую для входящих, адресованных богу. «Помоги», – просила я Его.

Некоторое время не наблюдалось никакого заметного прогресса. Меня попросили испечь что-нибудь для прощального праздника в последний день занятий. Я не могла этого сделать, поскольку была запарка в работе. А еще я была в плохом настроении. Но, по крайней мере, я пришла на праздник, ела вкусное печенье, которое испекла моя врагиня, – и мы немножко пообщались, и я решила было, что это прогресс. И вот надо было ей взять и испортить все вопросом:

– А вы что-нибудь испекли?

Я не пеку. Я пекла для школы один раз, и это был неудачный опыт. Сэм был тогда в подготовительном классе маленькой христианской школы. Я испекла дюжину капкейков для рождественской вечеринки и поставила их охлаждаться. Мы с Сэмом вышли на улицу, чтобы подмести искусственный газон. (Ну да, садоводством я тоже не занимаюсь.) И вдруг из дверей вырвалась Сэйди – наша собака, такая послушная, так любящая угождать. Но в шерсти и на морде у нее была глазурь, а в глазах – глубоко озабоченное выражение. О боже мой! – казалось, кричала она одними глазами. – Ужасные новости с кухни!

Сэм возрился на меня с абсолютным отвращением, точно говоря: «Ты, невежественная распустеха – ты оставила капкейки в таком месте, где до них смогла добраться собака!»

На следующее утро я пошла и купила капкейки в супермаркете. Как и было сказано: я не пеку.

А еще я не заставляю Сэма читать. В нашем первом классе никого не заставляли уметь читать, что хорошо, поскольку мой

сын не читал. Я имею в виду – не читал сам по себе.

Ребенок моей врагини читал профессионально, как маленький Джон Кеннет Гэлбрейт в футболке с Человеком-Пауком. Мальчишка был из тех, кого называют «ранними читателями». Сэм – «поздний читатель». Альберт Эйнштейн был «поздним читателем». Теодор Качиньски был «ранним читателем». Не то чтобы я защищаюсь. *Pas du tout*.

Сэм и сын этой женщины пошли вместе и во второй класс, и следующее, что я узнала: она прониклась особым интересом к чтению Сэма.

Она начала год с того, что стала подсовывать мне «первые книжки» для первоклассников, которые, по ее мнению, Сэм мог бы прочесть. И он определенно мог прочесть некоторые слова. Но меня возмущало то, что она вручала их нам с покровительственной улыбкой, словно говоря, что ее ребенку они не понадобятся, поскольку он читает новое творение Джоан Дидион.

Я отправилась к божьему ящичку. Вынула из него листок бумаги с ее именем. Добавила восклицательный знак. Положила бумажку обратно.

Однажды, вскоре после этого, она подрулила ко мне в школе и спросила, нет ли у меня лишнего экземпляра написанной мною книги о том, каково это – быть матерью. Книга эта полна черного юмора и довольно тенденциозна: когда родился Сэм, Джордж Буш-младший был президентом, и, пожалуй, я была несколько сердита. Были свои предубеждения: я написала книгу о младенцах с антибушевской направленностью.

Так что, когда она попросила у меня экземпляра, я попыталась увильнуть; старалась заинтересовать ее своей антирейгановской книгой о писательском ремесле, но она не поддавалась.

Спустя пару дней, полная подспудного чувства неотвратимого рока, я подарила ей свою книжку, подписанную словами «С наилучшими пожеланиями».

Следующие несколько дней она двусмысленно улыбалась всякий раз, как мы виделись в школе, – и тревога росла. Однажды она подошла в магазине.

– Я прочла вашу книгу, – сказала она и подмигнула. – Может быть, – продолжала она шепотом, поскольку мой сын стоял в нескольких футах, – может быть, это и хорошо, что он не читает.

Хотелось бы мне, чтобы у меня нашелся идеальный остроумный ответ, нечто настолько учтивое и блестяще язвительное, чтобы Дороти Паркер, подслушав эти слова с небес, победно воздела кулак. Но я, ошеломленная, могла только раззявить рот на свою врагиню. Она очень мило улыбнулась и

была такова.

Добравшись до дома, я обзвонила десять человек и каждому рассказала, как она меня срезала. А потом я срезала ее. И это было хорошо.

Когда мы встретились в следующий раз, она улыбнулась. Я оскалилась, самую малость. Я чувствовала отвращение, но и себя ощущала отвратительной. Вынула свою записку, адресованную богу. И сказала: «Глянь-ка, милый. Думаю, нам нужен калибр покрупнее».

Ничего не случилось. Никакой неопалимой купины, никаких злаковых хлопьев, падающих с небес и выкладывающих инструкции на снегу. Просто Бог начал действовать: куда бы я ни пошла, всюду обнаруживались полезные домашние советы насчет любви к врагам своим и подставления другой щеки; намеки, что все это побуждает обратить взор в совершенно новом направлении. Были увещания о саморазрушительности непрощения людей и напоминания, что обычно непрощение не наносит другим людям такого вреда, как тебе самой. На самом деле не простить – все равно что выпить крысиного яду, а потом ждать, пока крыса сдохнет. Печеньица-предсказания с намеками, почтовые открытки, наклейки на бампер – короче, весь комплект, кроме писем на небесах; однако у меня не пропадало чувство, что я не могу и не стану прощать ее – ни так, ни этак, ни на небе, ни на земле.

На самом деле не простить – все равно что выпить крысиного яду, а потом ждать, пока крыса сдохнет.

Однажды в воскресенье, когда я мучилась этой проблемой, воскресная проповедь оказалась шестой главой из Луки: «Прощайте и прощены будете». Кстати, как ни стараюсь, не могу найти в этих словах лазейки. Тут не сказано: «Прощай всех, если только они не скажут какой-нибудь гадости о твоём ребенке». Не говорится даже: «Просто попробуйся». Но если хочешь быть прощенной и ощущать любовь, придется простить всех и каждого, даже наихудшего бойфренда, даже – господи помилуй! – саму себя.

Если хочешь быть прощенной и ощущать любовь, придется простить всех и каждого, даже наихудшего бойфренда, даже – господи помилуй! – саму себя.

Спустя пару дней я забирала Сэма из дома другого его приятеля и заметила в кухне пожелтевшую вырезку, прилепленную клейкой лентой к холодильнику, со словом

«Прощение» в заголовке – словно Бог решил отставить деликатничать и перейти к откровенной настырности. В заметке говорилось, что дарование прощения означает, что Бог есть для даяния, и что мы здесь тоже для даяния, и что отказывать в даянии любви или благословения – это абсолютное заблуждение. Автора текста никто не знал. Я переписала заметку и приклеила ее к своему холодильнику. Потом старая подруга из Техаса оставила на моем автоответчике следующее сообщение: «Не забывай, Бог любит нас именно такими, каковы мы есть, и Бог любит нас слишком сильно, чтобы позволить нам оставаться такими».

Не забывай, Бог любит нас именно такими, каковы мы есть, и Бог любит нас слишком сильно, чтобы позволить нам оставаться такими

Вот только думается мне, что она могла исказить цитату, поскольку сказала, что «бог любит нас слишком сильно, чтобы позволить нам оставаться такими».

Я стала нервно оглядываться поочередно через оба плеча.

Пару дней спустя сын моей врагини пришел играть с Сэмом у нас дома, а перед ужином мать приехала забрать его. И, оказавшись в моем доме впервые, она уселась на диван – точно уже проделывала это прежде и это вполне естественно. Я ощупала свое сердце изнутри: оно оказалось не слишком холодным и не слишком твердым. В сущности, я почти что предложила ей чаю, потому что она показалась мне грустной или, возможно, усталой. Я даже чувствовала внутри острый нож доброты, пока ее сын, топоча, не вылетел из Сэмовой комнаты, крича, что он решил свой арифметический тест на 100 процентов, а Сэм сделал два примера неправильно.

– Предатель! – выкрикнул Сэм из своей комнаты и с грохотом захлопнул дверь.

К тому времени как пришла пора ложиться спать, Сэм сказал, что прощает того мальчишку, но дружить с ним больше не хочет. Я сказала, что он не обязан с ним дружить, но должен быть добрым. За завтраком Сэм сказал, что по-прежнему прощает его, но когда мы приехали в школу, заметил, что, пока мы были далеко, прощать было легче.

И все же несколько дней спустя, когда эта мамаша позвонила и пригласила Сэма к ним поиграть, ему отчаянно захотелось пойти. Она увезла его после школы. Когда я приехала забрать сына, она предложила мне чаю. Я сказала – нет, я не могу задерживаться. Я была в своих самых «толстых» брюках; она – в своих «велосипедах». Аромат каких-то печеностей, сладкий и

дрожжевой, наполнял дом. Сэм не мог найти свой рюкзак, и я стала помогать ему. Все поверхности в доме были покрыты красивыми и дорогими вещами.

– Прошу вас, давайте выпьем чаю, – предложила она снова, и я заикнулась было ответить «нет», но какая-то штука внутри воспользовалась моим голосом, чтобы сказать:

– Ну... ладно.

Мне было неловко. Сидя в ее гостиной, я мысленно подбивала ее: ну же, заговори о школе, о математических тестах, об экскурсиях, о физических упражнениях или политике. Так-то у нас было очень мало тем для разговора – мне приходилось трудиться изо всех сил, чтобы она не углублялась в какую-нибудь тему, потому что в ней, черт побери, был так силен дух соревнования, – и я сидела, деликатно попивая свой чай с лемонграссом. Везде, куда ни плюнь, была очередная показуха, очередные дорогие вещи: понтовый хлам из серии «у меня больше денег, чем у тебя»; плюс другой, из серии «ты потеряла форму». Потом появились наши сыновья, и я поднялась, чтобы уйти. Ботинки Сэма стояли на коврике у входной двери рядом с ботинками его приятеля, и я подошла, чтобы помочь ему обуться. Ослабив шнурок на одном ботинке, не сознавая, что делаю, я бросила взгляд в кроссовку второго мальчика – чтобы узнать, какой размер он носит. Чтобы понять, равен ли ему мой сын размером обуви.

И тут до меня наконец дошло.

Пелена спала. Я поняла, что окончательно спятила. Я поняла, что это я переживаю из-за того, что мой сын недостаточно хорошо успевает в школе. Что это я думала, что потеряла физическую форму. И я пыталась заставить ее быть носительницей всего этого вместо себя – потому что было слишком больно нести эту ношу одной.

Мне захотелось расцеловать ее в обе щеки, извиниться за все презрение к самой себе, которое я выплевывала в мир, за все злые чары, которые я наводила на нее, думая, что это она причиняет вред. Я чувствовала себя Эдгаром Гувером, который заглянул в ботинки семилетнего приятеля своего племянника, чтобы выяснить, как соотносится с ними стопа маленького Гувера, праздно размышляя, как понравилось бы родителям этого ребенка заполучить «жучок» в свой домашний телефон. Это все была я. А она подливала мне чаю и заботилась о моем сыне. И, похоже, простила за написание книги, в которой я разнесла ее политические убеждения, – простила до того, как я совершила то, за что нужно прощать.

Я почувствовала себя настолько счастливой там, в ее

гостиной, что опьянела от чая. Есть пословица: как аукнется, так и откликнется. И я начала ласково разговаривать со всеми – с матерью, с мальчиками. И ласковый голос обволакивал меня, точно солнечный свет, точно запах датских булочек в духовке, две из которых она положила на картонную тарелку и накрыла фольгой, чтобы мы с Сэмом забрали их домой. Очевидно, у этой женщины было небольшое поведенческое расстройство на почве выпечки. И я этому очень рада.

На вершине лета, самого нелюбимого времени года, которое пропустила бы, будь я богом, у одного из лучших друзей случился нервный срыв. Мы одного возраста, и он для меня почти как брат: очень культурный, с хорошей работой, недавно женившийся на феерической женщине. И подверженный острым депрессиям. Он не мог отделаться от мысли о самоубийстве, несмотря на то, что обожает жену, сына, работу и нас, своих друзей. Так что он пробыл, по его собственному выражению, «в мусорном ящике» три недели, а теперь жил в санатории, где ему предстояло оставаться две недели, прежде чем заново войти в свою жизнь. Я не виделась с ним несколько дней, и в один душный вечер, пустой и тревожный, внезапно пришло в голову навестить его. Было пять часов – три часа до прекращения посещений, – и было совершенно ясно, что даже в моем безумном и потном состоянии придется добираться до него по шоссе не меньше часа, чтобы поддержать его в разборках с хаосом нервного срыва и реабилитации, с той натянутостью, которую это вызвало в его браке, отцовстве, карьере. Может быть, подсознательно моей целью было помочь себе почувствовать себя святой – и взбодриться.

А еще это помогло бы справиться с моим собственным одиночеством, потому что я собиралась притащить с собой кое-кого еще.

Моя подруга Джанин согласилась бы поехать – экспромтом. Она тоже обожает этого мужчину. И с радостью хватается за любой предлог слинять из дому, где наличествуют трое детей, один из которых оправляется от мозгового кровоизлияния, вызванного опухолью, а также невестка и зять, перебравшиеся к ней, чтобы помочь заботиться о детях. Кстати, может возникнуть мысль, что женщину с больным ребенком надо бы оградить от втягивания в мои внезапные экскурсии, но нет, система работает не так: глядишь, и ей тоже помогло бы. Двух зайцев одним выстрелом – Энни помогает всем! Плюс Джанин села бы за руль. У нее огромная мегатачка с *GPS*, встроенный телефон с громкой связью, отличная стереосистема.

Я распечатала карту и маршрут с сайта *MapQuest*, прежде чем отправиться к ней домой. Взяла с собой две ледяные бутылки с водой и мешочек, наполненный миндалем, который, я верю, обладает лечебными свойствами, так же как антидепрессанты и голубика.

Доехала до ее дома, который так и лучился радостью.

Больной ребенок сидел и смотрел телевизор, окруженный громогласной любовью. Я переобнимала всех подростков и взрослых родственников и провела несколько особо полезных Энниных минут с выздоравливающим мальчиком, уговорив его немного поболтать. Затем мы с Джанин отправились в городок Ронерт-Парк, который менее милосердные люди называют Крысопарком, – таинственное место, где много метамфетаминовых лабораторий и трейлерных стоянок (там я бываю редко). Мы казались себе непревзойденными и организованными: в ее идеальной машине, с картой, маршрутом, водой и миндалем. И очень нравилось общество друг друга. Мы обе были трезвенницами, вспыльчивыми христианками, имеющими цель: довести свои лучшие «я» до нашего дорогого друга, который восстанавливался от суицидальной попытки. Выверенный маршрут придавал достаточно уверенности, чтобы двинуться в путь, выехать на шоссе и добраться до санатория, расположенного в часе езды: одном съезде с шоссе и двух правых поворотах от нас. Легко!

Мы даже не включили *GPS*.

Кажется, солнце подумывало, не закатиться ли ему, и висело низко в небе, и было чудесно быть вместе, катя по дороге, разговаривая о медленном, но стабильном выздоровлении ее сына и о внезапном нервном срыве нашего дорогого друга.

– Все это так жизненно, – говорила Джанин. – Вот почему мы так любим телевидение.

Мы ехали почти час, а потом стали выискивать нужный съезд. Зазвонил автомобильный телефон, и Джанин приняла звонок, казалось, не шевельнув и пальцем. Может быть, у нее за ухом вживлен чип *AT&T*. Как бы там ни было, она сказала «алло», и это оказалась Кэти, женщина, ответственная за обратную транспортировку машины Джанин из больницы в Хьюстоне, где ее 14-летний сын проходил реабилитацию. «Да, – повторила Джанин несколько раз. – У почтового отделения в городе, в полдень». Я улыбнулась и пальцами изобразила универсальный жест, обозначающий болтовню. «Да, – снова произнесла она. – В полдень. Да, верно: у почтового отделения».

Я принялась изучать указания по маршруту. Но когда Джанин отключила телефон, мы заметили, что ни один из существующих съездов в них не перечислен, и до нас дошло, что мы заехали слишком далеко. Тогда мы притормозили и включили *GPS*, качая головами и смеясь над собой, самоуверенными школьницами, которые добыли маршрут из *MapQuest*, но не обращали на него внимания.

Леди *GPS* велела нам сделать разворот на 180 градусов и

вернуться на шоссе, направляясь на юг. Мы заехали на 11,2 мили дальше, чем нужно. На 11 миль! Ой, ну и ладно, сказали мы и поехали на юг. Ехали, сплетничая, поедая поджаренный миндаль, и были уже в двух милях от нужного места, когда позвонил замечательный муж Джанин, Алан, из Европы. Его имя и номер телефона высветились на экране *GPS*, вытеснив карту. Громкий раскатистый голос Алана раздался в колонках, спрашивая Джанин, найдется ли у нее минутка, но она объяснила, что мы почти доехали до места и уже один раз пропустили свой съезд. Можно она перезвонит ему, как только доедем?

Все кусочки головоломки невозможной жизни Джанин и ее больного ребенка вроде бы сложились сегодня, и она не хотела никого никуда посылать – особенно мужа, который так устает. Но с его стороны в трубке воцарилось долгое скверное молчание. Было ясно, что он «в состоянии», а не просто в отъезде. И не просто в какой-то там стране, а в самой Германии.

– Отлично, – буркнул он. – Спокойной НОЧИ!

Она пыталась подольститься, поправить ему настроение и сказала, что перезвонит не позднее чем через пять минут, – но он отключился. Ой, ну и ладно, сказали мы снова, пожав плечами. Кажется, это стало нашей мантрой. На самом деле вышла еще и неплохая молитва.

За милю до нужного места по карте *GPS* мы снова стали сосредоточиваться, как дети. Мы попадали в санаторий почти за час до прекращения посещений. Леди *GPS* сообщила, что наш съезд будет через 0,3 мили.

И прямо в этот момент – *дзынь, дзынь. Дзынь.*

Номер телефона Кэти вытеснил карту с экрана. Транспортировщица из Хьюстона хотела задать еще один вопрос.

Мы обе рассмеялись, хотя до меня каким-то образом дошло, что мы снова пропустим поворот. Здесь повсюду были строительные знаки, мешавшие нам разглядеть съезды. Джанин приняла звонок.

Кэти хотела уточнить, точно ли в нашем городке только одно почтовое отделение.

Джанин сказала: «Точно» – и прикрыла рот ладонкой. Теперь мы уже бились в истерику: добрые подруги заливаются смехом в случаях, где есть серьезный риск описаться. Краем глаза я увидела, что мы вот-вот проедем поворот. Я взвизгнула, Джанин ударила по тормозам, но ей пришлось ехать дальше, иначе в нас врезалась бы машина, которая шла сзади.

Мы покачали головами и обратились к *GPS* за изменением маршрутной информации, и именно тогда я поняла, что под этой смешливой истерикой скрывалась истерика иного рода – с

рыданиями и скрежетом зубным. Мы проехали еще одну милю, ища съезд, но там были сплошные развалины и знаки объезда. Кажется, в жизни, на шоссе или в наших сердцах *всегда* что-нибудь или строится, или ремонтируется, или сносится для последующего строительства. Или убирают и расчищают свалку, оставшуюся от ремонта или сноса. Я вытирала глаза, немного смущаясь своих слез, и гадала, не найдется ли в гигантской машине Джанин салфетки. Нашла пачку в бардачке.

Притихшие, мы съехали на эстакаду, которая вывела нас обратно на Северное 101-е шоссе, и мы сделали поворот направо, потом еще раз повернули и еще, пока не затормозили перед санаторием, где лечился наш друг. Бз-з-з, просигналил мой *Blackberry* о получении *SMS*: жена нашего друга сообщала мне, что благодарна за то, что мы навещаем ее мужа, но ей обидно, что мы не взяли ее с собой. Она с удовольствием приняла бы участие в светском визите.

Я ответила ей, сидя на пассажирском сиденье, что люблю ее и прошу прощения, но это было спонтанное решение, и я выбежала за дверь, не успев ни о чем подумать.

Джанин осталась в машине и принялась названивать мужу в Германию. Можно было предсказать, что это будет нерадостный разговор. Я выбралась из машины и пошла к входной двери. И автоматически стала той самой ответственной тетушкой, вмешательства которой в свою пропащую жизнь, кажется, пожелал бы *любой* – организованной, позитивной, автономной.

Было двадцать минут восьмого, что означало, что на посещение осталось сорок минут. Мой друг ждал у дверей и встретил меня словами о том, что он волновался, уж не случилось ли с нами чего-нибудь, и у него был настолько расстроенный вид (я с ужасом понимала, что мы опоздали, а я терпеть не могу, когда люди опаздывают, даже на ужин или в кино, не то что в такой ситуации, как эта), что я заплакала.

Слезы выступили на глазах и побежали по щекам. Конечно, в своем почтенном возрасте я уже знаю, что смех и рыдания в корне связаны, но так хотелось принести другу мир божий, и жизнь, и утешение – пусть недолгое. Разве я о многом прошу?

Ну что ж, такое везение.

Друг повел меня на экскурсию. У него была собственная комната с семейными фотографиями и книгами. Там было мило. Я вдыхалась в этот факт, в эту забавную демонстрацию того, как, бывало, строишь прямую траекторию к своей цели и как вместо нее оборачиваются события в реальной жизни – промахи мимо съезда, и Кэти, и сердитый муж, и обиженная жена, и хаос нашей жизни, дергающий нас за подол, точно приставучий двухлетний

карапуз, – и как в то же самое время оказываешься там, где и хотела быть.

Мы на минутку присели на кровать в его маленькой комнатке, и тут вошла Джанин, все еще раздраженно мотая головой по поводу того, о чем говорила с мужем. Теперь она выглядела опустошенной и бледной, как истинная мать ребенка с опухолью мозга. Она и мой друг обнялись. Вдруг возникла всеобщая неловкость, словно наше время истекает – вот-вот выйдет совсем. Такова одна малюсенькая проблемка с благими намерениями: всегда возникают незванные голоса, которые жалуются, сплетничают, достают и не дают покоя. Всегда. Зернышко – мотив – может быть чудесным: сплошь сострадание и бескорыстие, желание услужить, пригодиться, но есть и остальное дерьмо, которое идет «в нагрузку». Из-за всего этого требуется намного больше энергии и окольных путей, чтобы попасть куда бы то ни было. Хоть бы и в Ронерт Парк.

Такова одна малюсенькая проблемка с благими намерениями: всегда возникают незванные голоса, которые жалуются, сплетничают, достают и не дают покоя. Всегда

Мужу Джанин хотелось всего лишь утешения. Жене нашего друга хотелось всего лишь принятия, общества и товарищества в тяготах. Кэти из транспортной компании хотела составить план возвращения машины Джанин и отпраздновать завершение самой трудной, самой печальной из возможных цепочек – семья и машина вместе дома после такого пробега.

Для того чтобы быть найденным, надо на некоторое время потеряться.

Окольные пути и бесконечные помехи продолжались и внутри санатория, где заблудшие души бродили по коридорам или оцепенело сидели перед скверно работающим телевизором в гостиной; двое уединились в закутке, где мой друг планировал посидеть и поговорить с нами. Сюда я хотела принести свое проклятое утешение – и все комнаты для гостей-утешителей оказались заняты! Ужас!

Для того чтобы быть найденным, надо на некоторое время потеряться.

Друг повел нас в кухню, где несколько человек сидели за большим столом, странные и печальные. Чудовищно полная женщина с татуировкой на шее занимала место рядом с истощенным мужчиной со стеклянными глазами. За столом не

было для нас места.

Разочарование мелькнуло на лице друга, он вздохнул, но мы уверили его, что это не имеет значения. Взяли себе по пластиковому стаканчику с холодной водой, и он повел нас дальше, в маленькую библиотеку. Там тоже были странные люди, сидящие на стульях, а также «ботанического» вида молодой человек с исцарапанным бритвой лицом, который крепко обнимал самого себя, игнорируя посетителей.

Потом, как бывает почти всегда, Бог прислал нам ангела-хранителя, который заметил наши расстроенные топтания по кругу. Да и трудно было не заметить: мы напоминали изнуренных лосей. Наша ангелица проходила мимо, направляясь к дежурной на проходной, чтобы подбросить ее домой, когда закончится смена. Казалось, она поняла, что нам нужно немного побыть вместе. И сказала:

– Есть идея. Лично я обожаю тусоваться в гараже. Это укромное и спокойное местечко.

И мы втроем оказались в тихом полутемном гараже с лампами, кофейными столиками, понатыканными везде напольными вентиляторами, коробками, полками с книгами и велосипедными шлемами. Это было похоже на комнату отдыха пациента с накопительским расстройством. Ангелица включила торшер. Вот он – рай!

Каждый из нас занял собственный диванчик, мы сдвинули их потеснее и предались приятной фамиллярной беседе. Теперь казалось забавным то, что мы сумели так заблудиться – с картой, GPS, проложенным маршрутом...

Мы получили свою маленькую передышку. Я благодарила Бога за краткий миг покоя. Кто знает, может быть, случится еще один. Неизвестно, в какую форму он выльется и какие препятствия надо будет преодолеть, чтобы ощутить его. Но наши лица светились любовью и изумлением от того, какое прекрасное решение было найдено в столь скромных обстоятельствах.

Нужно быть благодарным всякий раз, как доберешься до какого-нибудь безопасного и хорошего места, даже если оно оказывается не совсем тем, куда ты направлялся.

Гараж дал нам вкус нормальности, которого никто из нас уже долгое время не чувствовал из-за разных печалей и странностей. Нужно быть благодарным всякий раз, как доберешься до какого-нибудь безопасного и хорошего места, даже если оно оказывается не совсем тем, куда ты направлялся.

Небо снова переменилось, когда мы вышли во тьму. В нем

еще оставались намеки на умирающий закат. Мы втроем стояли у открытой двери, любуясь. Когда пребываешь во тьме, приходится пытаться вспомнить, что это танец: тьма, свет, тьма, свет, сумерки... Или когда ты на солнце, но собираются тучи, сразу думаешь: о, боже, ну вот, теперь будет холодно и мокро, и пошло оно все к черту. А потом тебе может припомниться, что, когда в прошлый раз сгущалась тьма, твои друзья проливали в нее маленькие тоненькие лучики света, – и ты вспоминаешь одну штуку, которая вроде как помогала, и еще один шаг, который можно сделать, и, может быть, еще что-то, что можно попробовать. Вспомнилось то, что однажды рассказала моя подруга Таша: когда она с друзьями ходит в пешие походы, они оставляют путевые вешки для отставших – кучки камней у тропы – чтобы показать, что здесь пошли направо или налево. Я должна была рассмеяться, стоя здесь, в распахнутых дверях: если уж карта, маршрут, *GPS* и многочисленные дорожные знаки не помогли нам, разве заметили бы мы сложенную из камней вешку? Ну да – в глубине души я именно так и думаю. Мы добрались сюда сегодня, имея достаточно времени, и здесь было тепло, и были стаканы с холодной водой. Камни, отмечавшие наш путь, были желанием наших сердец быть здесь друг для друга. Через окно, рядом с которым мы стояли, обнимаясь на прощание, было видно, как наша заботливая ангелица надевает куртку, а дежурная показывает свои заметки мужчине, готовому заступить на вахту.

Радость миру

Мой пастор Вероника сказала вчера, что Бог велит нам ликовать. Никогда еще это не было так нужно, как сейчас, когда мир сильно болен. Ибо радость – это лекарство.

Сан-Квентин, возможно, не первым приходит на ум как место для поисков радости, но мы с подружкой Нешамой отправились туда на прошлой неделе учить заключенных рассказывать истории. Мне предстояло работать с ними над тонкостями писательского ремесла, а Нешама, которая обрела свой голос благодаря устной традиции, собиралась поделиться тем, чему научилась, работая в гильдии, в которой люди учат друг друга рассказывать подготовленные истории со сцены.

Мой пастор Вероника сказала вчера, что Бог велит нам ликовать. Никогда еще это не было так нужно, как сейчас, когда мир сильно болен. Ибо радость – это лекарство.

Я была рада оказаться там – по ряду причин. Во-первых, поскольку Иисус говорил, что все, что ты делаешь для последнего из Его людей, ты делаешь для Него; пожизненно приговоренные в пенитенциарных учреждениях – последние люди в этой стране. Он также обещал, что Бог прощает и тех, кого нельзя любить и прощать: отбывающих пожизненное заключение, и меня; может быть, и вас.

Во-вторых, мой отец преподавал английский язык и письмо в Сан-Квентине в 1950–60-е годы. Он публиковал в «Нью-Йоркере» рассказы о своих учениках, а потом написал биографию Сан-Квентина; я росла, слыша его рассказы об учениках и о самом этом месте. Он не погрязал в сложных моральных и этических материях – правах жертв, рецидивизме... Просто учил заключенных читать хорошие книги, говорить на хорошем английском и писать. Мой отец относился к ним с уважением и добротой, его главной философской и духовной позицией была следующая: не будь задницей. Мы с братьями не раз стояли у ворот Сан-Квентина вместе с ним и его друзьями: и в знак протеста, и безмолвными свидетелями – всякий раз, когда кого-то собирались казнить в газовой камере.

Мой отец относился к ним с уважением и добротой, его главной философской и духовной позицией была следующая: не будь задницей.

И последнее: я была рада быть там потому, что один из заключенных, Вульф, глава тамошней группы вьетнамских ветеранов, просил меня помочь кое-кому из его друзей с литературным творчеством.

Я бывала на территории тюрьмы на религиозных службах по вечерам, но никогда не попадала днем. Когда мы поехали туда, лил дождь. Стоя в ожидании под стенами вместе с Нешамой, двумя учителями английского из Сан-Квентина и одной подругой из церкви, я остро осознавала насилие и страх мира. Обычно я едва ли способна что-то чувствовать, кроме скорби и пучеглазой паранойи. Но моя вера говорит, что Бог обладает навыками, некоторыми хитростями и милосердием – вполне достаточными для того, чтобы нести свет в нынешнюю тьму, в семьи, тюрьмы, правительства.

Сан-Квентин располагается на красивом участке земли в округе Марин, на западном берегу залива Сан-Франциско. Там много солнца, виды на мосты, холмы, виндсерферов. Пока мы ждали, я старалась не беспокоиться. По воскресеньям Вероника твердила нам то, что всегда говорили Павел и Иисус: не беспокойтесь! Не будьте тревожными. В темные времена ищите свет. Заботьтесь о самых малых из божьих людей. Она цитировала преподобного Джеймса Форбса, который говорил: «Никто не попадает в рай без рекомендательного письма от бедных». Очевидно, что понятие «бедные» включает и заключенных.

У Иисуса была взаимная симпатия с заключенными. Он ведь, в конце концов, был одним из них. Должно быть, Ему не раз довелось ощущать тревогу и изоляцию в тюрьме, но Он отождествлял Себя с узниками. Он старался подружиться с наихудшими и ненавидимыми, потому что весть Его состояла в том, что никто не бывает недосыгаем для божественной любви, несмотря на склонность общества утверждать обратное.

Иисус старался подружиться с наихудшими и ненавидимыми, потому что весть Его состояла в том, что никто не бывает недосыгаем для божественной любви, несмотря на склонность общества утверждать обратное.

Наконец мы встали перед внутренними воротами, показали свои удостоверения личности охране и получили флуоресцентные штампики на руки. «Кто не светится – тот не пройдет», – проговорил один жизнерадостный рябой охранник, и это – лучший духовный совет, какой я слышала.

Когда мы вошли в тюремный загон, в голове крутились тревожные мысли о том, что нас возьмут в заложники, а пистолет прикрутят к моему виску клейкой лентой. Не думаю, что такие

мысли приходили бы в голову Иисусу: все в Нем тянулось в мир с любовью, милосердием и искуплением. Он учил, что Бог способен извлечь жизнь даже из смертельных обстоятельств – не важно, на какой отметке стоит уровень террористической тревоги.

Нашей группе позволили осмотреть внешние стены тюрьмы, которая была открыта в 1952 году. Сан-Квентин обладает дивной европейской красотой – древние с виду стены, элегантные оружейные башни. Он весь – словно декорация из Эдгара Алана По. Человек с правильным подходом мог бы сделать из этого места нечто воистину прекрасное, нечто праздничное. Скажем, из него получилась бы прехорошенькая гостиница типа «ночлег и завтрак». Или пивоварня. Я не знала, кто там внутри, знала только, что большинство заключенных – убийцы, отбывающие пожизненное заключение. Представляла себе, что некоторые из них будут угрюмыми, с бегающими глазами, а другие – очаровательными мошенниками, пытающимися обворожить меня, чтобы я вышла за них замуж, и добыла им лучших адвокатов, и спала с ними каждый второй вторник. Я знала, что там, внутри, будет и товарищество, и жестокость, и искупление, потому что читала отцовские рассказы. Но они были написаны много лет назад, когда еще можно было верить в необходимость заботы о заключенных, не рискуя быть обвиненной в снисходительности к преступлениям.

Иисус был снисходителен к преступлениям. Поэтому Его никогда бы никуда не избрали.

Во дворе нас встретили сначала несколько человек из персонала, потом Вульф и двое его друзей – все вежливые и чисто выбритые, в кеги вьетнамских ветеранов. Мы стояли внутри круга тюремных зданий, в центре бетонных блоков с камерами. Здешняя территория ярко украшена живописцами-заключенными, но здания выглядят как детский игрушечный домик, забытый на улице на сотню лет: пластиковый замок, куча-мала из камня и бетона, причудливый, рыхлый, приходящий в упадок.

Повсюду колючая проволока, постоянный лязг и гром ворот, камер и дверей. Охранники вооружены оружием и ключами, точно взятыми прямым из Средневековья. Заключенные бродят по всей территории, медленно, как монахи, поскольку идти особо некуда. Конечно, мы видели лучших: вежливых, не приговоренных к смертной казни. В основном это были пожилые люди с пониженным уровнем тестостерона. Мне это нравится.

Вульф и его друзья показали нам классные комнаты, часовню и хобби-мастерскую, где заключенные работают, создавая деревянные шкатулки для украшений, мозаичных колибри и кресты.

– А стоит ли доверять вам, парни, ножи, пилы и другие крайне острые орудия? – деликатно поинтересовалась я.

Они рассмеялись.

– Мы заработали эту привилегию хорошим поведением, – ответил Вульф. Он показал нам старый обеденный зал, длинные стены которого были украшены фресками, выполненными заключенными в черных и коричневых тонах – обувным кремом. Фрески изображали историю Калифорнии и их собственную: мивоки на горе Тамальпаис, сэр Фрэнсис Дрейк на берегах Вест-Марин, испанские миссии, «золотая лихорадка», герои труда, фермеры, художники, заключенные, святые; внутри картин были тайны, доступные только взорам заключенных.

Мы подошли к главному блоку. Тюрьма перенаселена. Заключенные живут по двое в камере, спят на двухэтажных койках. Камеры гротескны, как хорватский зоопарк. Понимаю, родственники жертв могут считать, что заключенные это заслужили, но вид их, втиснутых в эти клетки, подействовал на меня так же, как фотографии выставленных на позорище трупов сыновей Саддама Хусейна. Хочешь – не хочешь, а задашься вопросом: «Кто мы такие? И что дальше? Окровавленные головы на шестах под стенами Белого дома?»

– Что вы читаете? – спросила я человека в одной из камер.

Он показал свою книгу: непридуманные преступления в изложении Энн Рул.

Вульф повел нас в другую столовую, где шестьдесят заключенных собрались на привинченных к полу стульях возле сцены, чтобы послушать наши выступления. За их спинами работники кухни и дежурные готовили следующую трапезу, рядом с ними маячили охранники.

То, что можно было назвать эстетикой, оставляло желать лучшего – полное отзвуков, похожее на пещеру пространство, точно ангар; металлическое, наполненное шумом, который издавали люди, готовившие еду. Пахло дешевым мясом, старым маслом и белым хлебом.

Я вышла на сцену, сделала долгий, глубокий вдох – и задумалась, с чего начать. Я рассказывала заключенным то же, что говорю на писательских конференциях: будьте внимательны, делайте заметки, давайте себе короткие задания, позволяйте себе писать дерьмовые черновики, просите людей о помощи – и признавайте своим то, что с вами происходит. Они добросовестно слушали.

Я рассказывала заключенным то же, что говорю на писательских конференциях: будьте внимательны,

делайте заметки, давайте себе короткие задания, позволяйте себе писать дерьмовые черновики, просите людей о помощи – и признавайте своим то, что с вами происходит.

Потом я представила им Нешаму, побаиваясь, что заключенные не очень-то примут эту каноническую бабушку со славной большой задницей и пушистыми седыми волосами, одетую в клетчатое фланелевое платье. Я пригласила ее потому, что люблю ее истории, и еще я знала, что мне было бы с ней веселее, и еще потому, что некоторые люди в Сан-Квентине, подобно Нешаме, ненавидят писать, зато любят читать и рассказывать истории.

Ожидания мои были весьма скромными. Я надеялась, что, может быть, пара-тройка заключенных образуют гильдию типа той, к которой принадлежит Нешама; надеялась, что они ее не обидят, не задавят, не попытаются заставить вступить с ними в брак. Она подошла к микрофону и рассказала первую историю, свою версию народной сказки. В ней говорилось о невезучем человеке, который обретает безопасность, богатство и красивую женщину, но слишком озабочен поисками куска удачи «покрасивше» в дальних краях, чтобы хотя бы обратить на нее внимание. Нешама рисовала историю ладонями, наклоняясь в толпу и отступая назад: то полная надежды, то приходящая в ужас от приключений этого невезучего человека, и ликующе улыбнулась концовке рассказа. И слушатели буквально сошли с ума! Она перетянула все внимание с меня на себя, точно рок-звезда, в то время как я выглядела чопорной и цивилизной. Они думали, что Нешама собирается преподать им урок, а вместо этого она спела песню. Их лица светились удивлением. Она сияла, изливая свет на них, они ощущали его на себе – и сияли в ответ.

Они задавали вопросы. Где искать такие истории? И Нешама говорила им: «Они – в вас самих, точно драгоценные камни в ваших сердцах». Почему они важны? «Потому что это сокровища. Эти воспоминания, эти образы проклевываются из почвы той самой мудрости, которую знаем мы все, но пересказать которую можете только вы».

Заключенные заворуженно смотрели на нее. Они выглядели как родственники, как соседи – чернокожие и белые, азиаты и латиносы, все в одинаковой голубой джинсовой одежде. Одни казались недовольными, другие скупающими, третьи внимательными; те, что постарше, были похожи на Бога.

Согнав, наконец, Нешаму со сцены, я устроила им второй

раунд своих лучших писательских рекомендаций. Раздались теплые, уважительные аплодисменты. Затем на сцену поднялась Нешама и рассказала еще одну историю. Это был рассказ о ее покойном муже, об озере, к которому он ходил пешком и в котором жила одинокая старая усатая рыба, что плавала кругами. Нешама нещадно ободрала свою историю, оставив только самую суть, ибо только суть цепляет отчаявшихся людей. И мужчины встали, чтобы устроить ей овацию. Это было ошеломительно! Все, что она сделала – это сказала им: «Я – человек, вы – люди, позвольте мне приветствовать вашу человечность. Давайте вместе немного побудем людьми».

Нешама объяснила им суть своей рассказчицкой гильдии, и один из охранников тоже присел, чтобы послушать. Мы устроили дуэт, отвечая на вопросы, рассказывая о поучительных случаях из собственной работы, о писателях, которых мы любим и которых, возможно, полюбят и они.

Мы пробудили в этих мужчинах слушающего ребенка одной-единственной историей о том, что рассказчик прожил определенное количество лет и кое-чему научился удивительными способами – теми, которыми вселенная доносит до нас истину. Я видела, что заключенные присматривают друг за другом. Понимала, что у них нет ничего, кроме внутреннего мира их разума, островков природной красоты, библиотечных книг, вины, ярости, развития – и друг друга. Меня охватило внезапное желание прислать им всем свои книги, а заодно – книги отца и его друзей. А еще – пожертвовать свои органы.

Почему эти люди заставили меня ощутить приступ великодушия? Может быть, дело в свежем воздухе, который мы впустили в тюрьму, в ветре, в дожде – или в нас самих. Было ощущение, что мы пришли туда с аккордеоном, и, пока говорили и слушали, меха наполнились и стали выдыхать чистый воздух, минуя металлические прутья.

Герои появляются в любых обстоятельствах и во все времена. Пророк говорит: «Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Пожилые женщины из общины пенсионеров в Милл Вэлли год за годом каждую пятницу протестовали с плакатами против войны в Ираке на главной дороге города. Мой двадцатидвухлетний знакомый, находящийся на полпути к медицинскому диплому, пытается осуществить свои балетные мечты в Нью-Йорке. Некоторые люди моего возраста – крайне среднего – готовятся к марафонам, или сплавляются на весельных лодках по Амазонке, или прыгают с парашютом, или усыновляют детей. А также впервые в жизни публикуются.

А что же я? Я совершила самый героический поступок из всех: на целый год зарегистрировалась на сайте *match.com* (сайт знакомств. – *прим. ред.*)

Дело в том, что я только сподобилась на мужественный акт, а именно – написала мемуары вместе с сыном, объехала с ним Восточное побережье и выступала со сцены перед сотнями людей одновременно. Но одна сбывшаяся мечта не означает отказа от остальных, лелеемых всю жизнь. Скажем, если тебе хочется крутую карьеру и партнера, это еще не значит, что ты – алчный мечтатель. Осознание этого придало мне уверенности, чтобы начать знакомиться.

Но одна сбывшаяся мечта не означает отказа от остальных, лелеемых всю жизнь.

Меня передергивает от одного слова «знакомства», не говоря уже о возможном начале романтических отношений. Какие страшные слова! У меня почти идеальная жизнь, хоть я и была одиночкой с тех пор, как четыре года назад рассталась с бойфрендом. Это действительно так, насколько возможно в сей юдоли слез: обожаемая семья, внук, церковь, карьера, трезвость, две собаки, ежедневные долгие прогулки, дневной сон, прекрасные друзья. Но иногда я скучаю по партнеру, по родственной душе, по мужу.

Мне нравилось спать одной. Я не скучала по сексу; у меня были кое-какие проблемы с личными границами все годы, пока я пила: годам к двадцати с небольшим я уже выбрала свою жизненную квоту. Пресытилась. Нет, я действительно люблю то, что Вудхаус называл *old ootpus-bootpus* – «трах-тибидох», но лезть из кожи вон не стану. К тому же я провела приблизительно

1736 часов свой единственной драгоценной жизни, ожидая, пока мужчина кончит, – и притворяясь, что это было приятно. И жажду реванша.

Я не скучала по сексу; у меня были кое-какие проблемы с личными границами все годы, пока я пила: годам к двадцати с небольшим я уже выбрала свою жизненную квоту.

Чего мне не хватало – так это весь день переписываться со своим мужчиной, грезить о нем наяву и вместе смотреть телевизор по вечерам. Так вот, мне нужен был кто-то, чтобы целый день перебрасываться SMS и вместе смотреть телик.

Я достаточно осторожна в отношениях, поскольку большинство близко наблюдаемых мною браков губительны для одной или обеих сторон. В четырех пятых из них мужчины хотят заниматься сексом гораздо чаще, чем женщины. Практически ни одна женщина не придает значения вопросу, случится ли ей еще когда-нибудь с кем-нибудь переспать, даже если у нее хороший брак. Женщины делают это потому, что хочет мужчина, потому, что это заставляет мужчин больше любить их, для того, чтобы ненадолго ощутить близость. Женщины любят это в основном потому, что нужно вычеркнуть данный пункт из списка важных дел – и получить некоторую свободу на неделю-две.

Секса нет в женских списках обязательных дел. Мне жаль, что пришлось вам об этом сказать.

А еще 91 процент мужчин громко храпит – ужасно громко, точно смертельно больной медведь. Все-таки аппараты CPAP (аппараты для лечения апноэ и храпа. – *прим. ред.*) – величайшее достижение в супружеских радостях со времен изобретения вибратора. Они превращают ощущение, будто спишь рядом с умирающей гориллой, в нечто похожее на сон рядом с аквариумом.

И женщины вовсе не сходят с ума из-за тайной мужской интернет-порножизни. Но, пожалуй, мы обсудим это в другой раз.

Однако союз с партнером – человеком, с которым просыпаешься, которого любишь, с которым переговариваешься в течение дня, и садишься ужинать, и смотришь телевизор, и вместе читаешь в постели, и выполняешь трудные задачи, и он тебя любит... Это звучит чудесно.

Я проходила разные степени одиночества с тех пор, как рассталась со своим мужчиной. После разрыва была уверена, что впереди – целый букет добрых, блестящих, веселых мужчин моего возраста. Раньше так и было. И уж конечно, друзья будут сводить меня со своими друзьями-одиночками; кроме того, я много

времени провожу на людях, выступая в книжных магазинах и на политических мероприятиях – а это идеальный питомник для мужчин моего типа. Но я не встретила ни одного.

Люди не знакомы с одинокими мужчинами моего возраста, которые ищут женщину моего возраста. Шестидесятилетний мужчина не мечтает о шестидесятилетней женщине. Семидесятилетний – возможно. А уж восьмидесятилетний – о-ля-ля!

Шестидесятилетний мужчина не мечтает о шестидесятилетней женщине. Семидесятилетний – возможно. А уж восьмидесятилетний – о-ля-ля!

Почти все замечательные мужчины, знакомые с моими друзьями, либо состоят в отношениях, либо геи, либо чокнутые.

Я пришла на match.com с четким пониманием, что отношения – не решение жизненных проблем. Они трудны, особенно после первого триместра. Люди – существа травмированные, зависимые, нарциссические. Я – уж точно. К тому же большинство мужчин, с которыми знакомится одинокая женщина, либо расстались с подругами, либо развелись примерно двадцать минут назад.

Мужчина из моих недавних долгосрочных отношений, с которым я была вместе почти семь лет, оказался в новых серьезных отношениях примерно через три недели после нашего расставания. Я не шучу. Можете сами его спросить. Мы – отличные друзья.

Итак, я подписалась на match.com. Это означает, что ты можешь общаться с людьми на сайте, а не только бесплатно изучать профили, вопросники, предпочтения и фотографии. Подписалась и ответила на вопросы.

Мои предпочтения: умный, веселый, добрый; любит природу, бога, чтение, кино, домашних животных, семью, либеральную политику, долгие прогулки; я предпочитаю трезвенников или близких к трезвости людей.

В первое же утро электронной почтой прибыли профили восьмерых мужчин разного возраста, от 54 до 63. Большинство казались вполне нормальными, с университетскими дипломами (которым я не обзавелась, но, безусловно, намеревалась); некоторые – привлекательные, большинство – разведенные, но кое-кто, как и я, ни разу не состоял в браке; одни – остроумные, другие – туповатые, третьи – странные; короче, все – как в реальной жизни.

Что любопытно, почти все они были «духовными, но не религиозными». Сначала я думала, что это означает нечто экуменическое – в сторону Руми, Томаса Мертона, Мэри Оливер.

Но потом выяснила, что это – дружелюбно настроенные. Люди типа «стакан наполовину полон». Это очень мило! Им нравится думать, что они «ближе всего к буддизму» – и «открыты для волшебства, которое повсюду вокруг нас». Эти редко ищут религиозных чудиков вроде меня – скорее им нужны открытые, неосуждающие женщины. (Частое упоминание о том, что требуется неосуждающая женщина, вселяет тревогу.) Далее, многие упоминают о своей надежде на то, что ты «оставила свой багаж в аэропорту». Полагаю, у них самих все в полном порядке! Как здорово! Мне это нравится!

Восемь новых мужчин появлялись каждый день – наряду с горсткой претендентов, которые жили за тридевять земель. Некоторые были хороши собой, если верить их профилям, а в моем случае профили обычно бывали довольно честными. Они упоминали, что пьют умеренно, или вовсе никогда, или «за компанию» (это самое большее, в чем можно признаться; тех, кто «пьет алкоголически», днем с огнем не найдешь).

В качестве «первого плавания» я отправилась пить кофе с благовоспитанным мужчиной из своего городка, который сказал, что его прежняя подружка была религиозна, ревностная иудейка, и это сводило его с ума. Выяснилось, что я, вероятно, еще хуже. Мы расстались, обняв друг друга на прощание.

Для второго знакомства я выбрала симпатичного англичанина со взрослыми детьми. Он сообщил, что у него хорошее чувство юмора и он любит кино. Он был, пожалуй, чуточку полноват. Меня не особо волнует вес или отсутствие волос. Я написала ему, и мы договорились встретиться в «Старбаксе» на полпути между нашими домами, в воскресное утро перед богослужением в моей церкви.

Дальше я ничего не приукрашиваю. Он прибыл с опозданием на десять минут и в состоянии глубокого потрясения: только что стал свидетелем фатального ДТП с участием мотоциклиста на мосту Ричмонд – Сан-Рафаэль. Он остановился, чтобы взглянуть на тело, потому что испугался, что это может быть его сын, хотя его сын ездит на мотоцикле совершенно другой марки. Он вышел из машины, поговорил с полицейскими и осмотрел труп. Для меня это решило дело. Я предложила перенести встречу на тот день, когда ему не встретятся по дороге мертвые люди. Он выразил желание продолжить. Я угостила его славной чашечкой чаю.

Однако он мне понравился, и мы обменялись прелестными и пикантными электронными письмами, договорились о другом свидании – за суши, – и он был живым, культурным и даже очаровательным в своих письмах и *SMS*. Но за обедом, на

протяжении сорокапятиминутного разговора, он по чистой случайности забыл задать мне хоть один вопрос о моей жизни. Просто потрясающе, но мы так и не добрались до меня. И тогда я отключилась.

Мое вежливое указание на это обстоятельство, сделанное в письме, ему не понравилось.

Следующий мужчина был в высшей степени культурным типом: венчурный капиталист, знакомый с моими работами, – и оказался поистине превосходным собеседником. Мы встретились за кофе, потом долго гуляли по пляжу, потом был ужин при свечах, а между ними – SMS и электронные письма, определенно возникшее влечение... а потом он пропал на пять дней. Если бы я хотела по пять суток ни слухом ни духом не ведать о мужчине, к которому ощутила влечение и с которым у меня было три почти идеальных свидания, то вернулась бы в среднюю школу.

Мои друзья – молодцы. Они тут же ополчились на этого мужика. (Разумеется, я разговаривала о match.com со своими одинокими друзьями и с Сэмом.) Они знали, какое мужество с моей стороны – начать знакомиться. Я была для них примером.

Шаблон повторялся: вихрь свиданий, за которым следовало радиомолчание со стороны мужчины, – и заставлял меня скорбеть по тем временам, когда можно было познакомиться с человеком, наделенным чувством юмора, с которым обнаруживались общие интересы, возникало влечение, и вы начинали встречаться. Спустя какое-то время... ладно, ну кого я разыгрываю, к вечеру того же дня... ты отправлялась с ним в постель, а потом вы просыпались вместе, может быть, стеснялись друг друга, и было утреннее свидание. Потом строили планы встретиться грядущим вечером, или через день, или на выходных.

Но все это – старая парадигма. Теперь, если связываешься с мужчиной через match.com, он вполне может мило общаться с двумя-тремя другими женщинами с сайта, поэтому каждое свидание и новый уровень знакомства – кофе, прогулка, обед, потом ужин – подобен пребыванию на игровой доске, где фишки разного цвета передвигаются вдоль дорожки.

Каждые пару недель я встречалась с новым мужчиной и отрабатывала свои навыки знакомства: слушать, оставаться непредвзятой и доводить свидание до дружелюбного завершения. У моего сына на предплечье вытатуирована фраза «Мы не сдаемся»; это – наш семейный девиз. Так что я не сдавалась, даже когда мой спутник являлся на свидание в расстегнутой гавайской рубашке или объяснял мне, что на самом деле нет никакой истинной разницы между республиканцами и демократами.

Сэм говорил, чтобы я не сдавалась, что я встречу мужчину,

достойного меня (дословно!). Уже одно это сделало этот год стоящим.

Одним из моих неудачных «кофейных свиданий» было знакомство с царственным коротышкой, обладавшим злосчастным сходством с Антонином Скальей, дополненным лоуферами с кисточками, чванливым и разочарованным, – пока до него не дошло, что я всамделишная писательница. Тогда он пожелал стать моим лучшим другом навеки.

Следующим я заприметила профиль красивого религиозного мужчины с университетскими дипломами и отличным чувством юмора, и на Антонина Скалью он похож не был. Он писал, что верит в учтивость и дружелюбие. Ладно, клюну, пожалуй. Единственным сомнительным местом в его анкете было то, что он считал себя «умеренным в политике».

Я черкнула ему пару строк.

Он ответил мне пятнадцать минут спустя: «Ваши политические взгляды мне претят».

О, как мне это понравилось! «Умеренный» в политике почти всегда с гарантией означает «консерватор»! Такой мужчина, как правило, принадлежит к «движению чаепития», но снизойдет до того, чтобы дать уложить себя в койку неистеричной либералке, что вычеркивает меня из списка.

Человек с университетским образованием, прекрасным чувством юмора, духовный, но не религиозный, написал мне, что обожает мои книги и чувствует, что мы родственные души. Мы встретились в «Старбаксе». Он был очень милым и открытым, но у него оказался компульсивный смех а-ля Бивис и Баттхед. Спустя десять минут у меня заныла шея.

Потом я встречалась с мужчиной настолько же «левым», как я сама, за пару недель перед президентскими выборами! Райское блаженство. Да еще и англичанин! Иностраннный акцент для меня неотразим...

Точнее, не так. Был неотразим.

Мы встречались четыре раза в быстрой последовательности – за кофе, за обедом, на прогулке. Возникло влечение, мы много смеялись, засыпали друг друга письмами. Но ни разу не соприкоснулись. Я думала – как человек зрелый и/или заблуждающийся, – что это со временем придет, но оно не пришло. Я попробовала применить пару «тренировочных» случайных прикосновений, но он не отозвался.

Мои советчики говорили, что я должна обратить на это внимание. Какая-то часть меня не хотела им верить: ведь этот мужчина знал, что мы с ним встретились не на сайте поиска друзей для прогулок. Нам обоим нужны были партнеры. Но потом

до меня дошло, что мои ужасные друзья правы: он не ощущает ко мне физического влечения. Я была удивлена и расстроена до слез. Я написала ему на повышенных тонах (если можно так сказать о письме), что, возможно, у нас ничего не выйдет и что, пожалуй, нам следует сделать перерыв на то время, пока меня не будет в городе.

Он ответил, что хотел бы продолжения отношений – и чтобы я не сдавалась.

Ура! Мое сердце воспарило, аки кондор. Мы поддерживали контакт по электронной почте те пару недель, что я была в отъезде.

Я вернулась домой. Он пригласил меня на обед, мы легко и весело провели время. Потом написал, что наша встреча доставила ему истинное удовольствие. Я спросила, не хочет ли он пойти на долгую утреннюю прогулку в День Благодарения, до того как в мой дом хлынут орды варваров. Мы попили кофе в кухне вместе с моим сыном и младшим братом, а потом состоялась прекраснейшая прогулка. Мы гуляли вместе и на следующее утро. Потом в приступе отчаянного безрассудства я пригласила его на вечерний сеанс в кино и держала свою чудесную растопыренную ладошку на том месте, куда должен был бы приходиться подлокотник, если бы я воровато не убрала его, когда мой спутник ушел за попкорном. Но он не потянулся за моей рукой; короче, после того вечера мы больше не виделись. Спустя четыре дня молчания я написала ему, что, по моим догадкам, у нас ничего не получится. Он написал в ответ: да, вероятно, так и есть; у него возникли ко мне дружеские чувства, но не романтические.

Теперь он мой смертельный враг.

Это было четыре месяца назад. С тех пор мне попадались умные, милые мужчины, один даже совсем недавно. А сегодня я встречалась за кофе с тем самым первым, с которым познакомилась почти год назад. Мы рассказали друг другу о своих успехах; он пришел в восторг от «ваши взгляды мне претят» и посочувствовал насчет второго англичанина. Между нами нет «искры», но он неплохой человек, и в целом все было приятно.

Вы могли бы сказать, что мой год на match.com оказался не слишком успешным, поскольку я по-прежнему одна, вынуждена заново перебирать своих спутников по «Старбаксу» и довольствоваться «приятным». Насыщенная светская жизнь съела почти все мои деньги, но я так и не нашла подходящего мужчину. Поневоле задумаешься: может, что-то не так со мной?

Вот еще!

Но у меня осталось еще две недели до истечения срока

подписки. Все может случиться. Ведь Бог – позер, да и я пока не отказалась от своей мечты. Плюс, как ни поразительно, научилась знакомиться. Могу встречаться с мужчинами за кофе и тусоваться в течение часа – и либо решить больше никогда не встречаться, либо надеяться на продолжение. А вы говорите – фантастика. Я сделала это!

Семьи

Мои родители всячески стремились к так называемой хорошей жизни. Когда они влюбились друг в друга после Второй мировой войны, представителями «хорошей жизни» были интеллектуалы. Это означало, что вы встречаетесь с другими парами, такими же как вы – красивыми, образованными, ироничными, – которые слушают Колтрейна и Майлза Дэвиса и воспитывают своих детей целеустремленными честолюбцами; они пьют много вина, обмениваются прекрасными книгами, наслышаны о самых современных поэтах и готовят блюда по рецептам передовой этнической кухни.

До сих пор помню, как мать погружалась в бодрящие центрирующие занятия: готовку, написание статей для местных газет, чтение, ванны, общение с лучшими подругами за совместным приготовлением мармелада или чатни (а потом они пытались обманом заставить бедных деток полюбить плоды своего труда). И инжир из садов друзей, который пожирали мы с отцом: помню его сочную плоть, в которой едва найдешь, за что укусить, медовый сок, не бегущий по подбородку, а стекающий прямо в гортань – и омывающий экзотическим древним наслаждением.

Еда и жизнь, созданные родителями, были бы вкусны и питательны, если бы не одна крохотная проблемка: они были страшно несчастливы вместе.

Еда и жизнь, созданные родителями, были бы вкусны и питательны, если бы не одна крохотная проблемка: они были страшно несчастливы вместе. Мы с братьями ели кассуле за столом, за которым родители избегали визуального контакта и, чтобы не срываться на крик, обменивались рублеными фразами. Это была смесь «Радости кулинарии» с Гарольдом Пинтером. Так что паровой пудинг из хурмы таял на языке, но застревал в пищеводе, поскольку давался такой ценой – комом в горле, тревогой в животе.

Что же превратило родителей из ярких молодых умников, влюбившихся друг в друга за книгами и вином, в безрадостных мужчину и женщину, которые после ужина разносили свои книги и очки в разные углы гостиной, соединенные только кувшинковым плотиком из детей, разлегшихся на коврике между ними и с головой ушедших в домашнее задание?

Думаю, ответ в том, чего не случилось: они не сумели

перенести свои удовольствия и любовь к собственным детям на следующий концентрический виток, где их ожидало нечто большее. Моя мать и ее подруги готовили вручную не только бочки чатни мирового класса, но и моле поблано, и пироги. Она фантастически готовила – и все же, поскольку была пуста изнутри и 27 лет пребывала в несчастливом браке, никогда не могла наесться досыта. И скоро разжирела.

Я находила духовную пищу, по которой изголодалась в детстве, в семьях двух лучших подруг. Одна из них была католичкой и жила чуть дальше нас в том же квартале. Католики произносили молитву перед тем, как подать на стол агрессивно скромную пищу: английскую пиццу-маффин, лапшу с тунцом, рыбные палочки. Похоже, что ее родители наслаждаются обществом друг друга – ничего себе поворот! Иногда они принимались орать и ссориться, а потом, позднее, обнимались и целовались в кухне – боже мой! У меня даже мысли не мелькало, что покой может проявляться в воплях и мокрых от слез объятиях.

Я также обожала обедать – и просто быть вместе – с семьей последователей христианской науки. Эти родители не вопили, зато читали вместе Библию и миссис Эдди (американская писательница и религиозный деятель. – *прим. ред.*). Когда я бывала в их доме, мы молились – с закрытыми глазами, глубоко дыша. В этом безмолвии можно было ощущать и слышать собственное дыхание; это одновременно расслабляло и пугало, точно в голове включалась автомойка. Конечно, я не упоминала об этом при своих родителях: они пришли бы в ужас. А для меня это был рай, пусть даже на ужин частенько бывали лишь покупные пироги или попкорн. Эта пища была такой вкусной благодаря любви в этом доме – любви, стержнем которой был ласковый, крепкий брак. Эти родители не орали и не целовались так часто, как католики, но я ощущала, как меня обволакивала дружелюбная уверенность их веры – и было грустно всякий раз, когда вновь подминала духовная анорексия в собственном доме.

К старшим классам школы я делала то же, что все сообразительные искательницы совершенства (помимо стояния на цыпочках), – сидела на диете. Или, если хорошенько подумать, обжорствовала, садилась на диету и снова обжорствовала, как мать – но никогда не ощущала состояния сытости без переполненности. И, как отец, стала помногу пить. Как и родители, я была больна болезнью под названием «еще!» – и совершенно не умела ощущать благородного удовлетворения.

Как и родители, я была больна болезнью под названием «еще!» – и совершенно не умела ощущать

Ничто не может быть вкусным, если ешь, затаив дыхание. Чтобы пища была вкусной, нужно присутствовать, смаковать ее, а присутствие заключается во внимании и в потоке дыхания. Оно начинается во рту, любимом органе утешения родителей, затем связывает голову с телом через глотку, продолжаясь в легких и животе – прекрасная связующая струна воздуха.

В середине и конце 1960-х случились две вещи, которые начали возвращать мне мою жизнь: контркультура и женское движение. Одна прекрасная учительница-хиппи дала мне книгу «Я знаю, почему поет в неволе птица», а потом дневники Вирджинии Вульф; все это я поглотила с жадностью, как человек, участвующий в состязании по поеданию хот-догов. С лучшей подругой Пэмми мы открыли для себя Джин Рис и журнал «Миз». Потом я поступила в женский колледж, и старшие девушки и профессора давали мне читать двух Маргарет, Этвуд и Дрэббл, и первое собрание Норы Эфрон. Я узнала тайны жизни: можно стать женщиной, о которой ты когда-то осмеливалась мечтать, но чтобы сделать это, придется полюбить свое собственное безумное, превращенное в руины «я».

Я встречала все больше и больше женщин, которые за чечевичным супом и пиццей рассказывали о моем духе, о моих потребностях и о моем теле. Знакомилась со смешанными группами для разработки стратегии протестов или спасения открытого космоса, и мы пировали рисом и бобами. Показывала новым друзьям, как готовить кассуле по родительскому рецепту. Они просвещали меня насчет халвы, гранатового вина и массажей для исцеления тела и души.

Я узнала тайны жизни: можно стать женщиной, о которой ты когда-то осмеливалась мечтать, но чтобы сделать это, придется полюбить свое собственное безумное, превращенное в руины «я».

В те годы забрезжило осознание, что ценности жизни родителей, «хорошей жизни»: восхитительная еда и бесконечные рассказы, книжные магазины, пешие походы – будут частью эволюционного путешествия наряду с тем, что я нашла в религиозных семьях друзей детства и церквях, наряду с глубочайшей истиной, открывавшейся в серьезных и забавных разговорах с женщинами, наряду с безмолвием и медитацией. Боже! Это было так радикально – и так вкусно...

Я не говорю, что это пришло легко. Как при игре на фортепиано или изучении испанского, я должна была усердно

заниматься и набивать шишки: приходилось читать трудные материалы, а потом переваривать их, обсуждать с другими и постепенно начинать понимать. Потом пробовать что-то еще, столь же трудное и достойное. Я должна была искать мудрость, учителей. И – о! – отношения. Даже не просите меня рассказывать, если впереди нет достаточно времени для описания тотальной, почти забавной неприемлемости каждого фиксаппера – я имею в виду мужчин, которых пыталась заставить полюбить меня. Но как сказал Руми, «благодаря любви всякая боль превращается в лекарство»; не бóльшая часть боли и не боль за других людей; боль и неудачи растили меня, помогали восстановиться – и наконец обрести себя истинную. Мне пришлось уяснить, что жизнь не будет сытной, если я попытаюсь с хрустом втиснуться в чужое представление о себе, а именно – в представление кого-то достаточно искушенного, чтобы предпочитать темный шоколад. Я люблю молочный шоколад – так что подайте на меня в суд. Зато больше не приходится набивать желудок по самые жабры. Во всяком случае, не так часто.

Я узнала от своих учителей, что когда хочется объедаться, или мужчину, или дорогих покупок, эту пустоту можно заполнить только любовью: дремать в обнимку с собаками, думать ни о чем или петь мимо тональности в своей церкви.

Я узнала от своих учителей, что когда хочется объедаться, или мужчину, или дорогих покупок, эту пустоту можно заполнить только любовью: дремать в обнимку с собаками, думать ни о чем или петь мимо тональности в своей церкви.

Я узнала, что раскрываться навстречу своей собственной любви и суровой чудесности жизни – это не только самая вкусная, самая восхитительная пища на свете, но и квант. Он будет излучать в холодный, голодный мир. Прекрасные моменты исцеляют – как какао, Пит Сигер, прогулка по старым просекам. Все, чего я хотела с тех пор, как прибыла сюда, на землю, было теми же самыми вещами, в которых я нуждалась во младенчестве: в переходе от холода к теплу, от одиночества к объятиям, от сосуда к подателю, от пустоты к наполненности. Можно изменить мир с помощью горячей ванны, если погружаться в нее с позиции понимания, что ты стоишь всяческой заботы, даже когда грязна и перепугана. Кто же знал?!

Никто не может доказать, существует ли бог, но трудные акты прощения – довольно убедительное для меня доказательство. Это не моя сильная сторона: предпочитаю компанию людей, которые точат на кого-то зуб, если только не на меня. Прощение – самая тяжкая работа души. Когда, несмотря ни на что, твое сердце со временем смягчается по отношению к воистину отвратительному поведению родителей, детей, братьев-сестер и всевозможных бывших, приходится поверить, что нечто, не принадлежащее миру сему, прокралось в твое холодное каменное сердце.

Прощение – самая тяжкая работа души.

Предоставленная себе, я отрицаю прощение – и начинаю думать, что есть раны настолько глубокие, что ничто не в силах исцелить их. Время не справится с такой работой: позитивного мышления явно недостаточно, иначе мы были бы в порядке, а не в теперешнем состоянии. Отсутствие прощения подобно проказе: если не лечить, оно может отобрать внутреннее равновесие, душу – и ощущение собственного «я». Я даже подумывала написать книгу под названием «Все люди, которых я до сих пор ненавижу: христианская точка зрения», но читатели бы отшатнулись. Кроме того, с возрастом, сама того не желая, прощаешь почти каждого.

Отсутствие прощения подобно проказе: если не лечить, оно может отобрать внутреннее равновесие, душу – и ощущение собственного «я».

Прощаешь мать – за то, что у нее была такая ужасная самооценка, зависевшая от вопроса, представляет ли она ценность для всех мужчин: повсеместно и во всех отношениях. Прощаешь за то, что она не восстала, не научила тебя быть самостоятельной прекрасной женщиной; за то, что не научила тебя пользоваться подводкой для глаз и промокательной бумагой; за то, что не сумела сбросить лишние 50 фунтов, которые заставляли тебя стыдиться и привели к собственной пожизненной obsессии. Ты прощаешь своего отца за... ну, вы понимаете – за все. За особую маскулинную замкнутость, за безверие, пьянство – и за общее презрение к женщинам с их примитивными, беспорядочными, таинственными телами и умами. Прощаешь всех, кроме наихудшего бойфренда, с которым, полагаю, могли

бы возникнуть трудности даже у Иисуса. Прощаешь ужасных начальников, чудовищно некомпетентных врачей. Прощаешь сверстников своего ребенка, которые запугивали его или впервые уломали попробовать сигареты или травку. Прощаешь соперника в профессии, особенно если превосходишь его калибром, и книги его плохо продаются, и волосы у него выпадают, и люди, наконец, видят, какой он отвратительный извращенец и мошенник, в идеале – прочитав об этом в разделе рецензий «Нью-Йорк таймс». Словом, прощаешь жизнь за то, что она так несправедлива, столь многое крадет и стольким обременяет; за то, что столь мучительна для большей части мира. Даже вроде-как-наполовину-в-основном прощаешь саму себя – за то, что выставляешься на посмешище: мошенница, неврастеничка, неудачница.

И вот потом откуда ни возмись рождается, является миру, заново открывается гигантская рана. Твой выросший ребенок ненавидит и обвиняет тебя, лжесвидетельствует против тебя, или бывший любовник твоей сестры обвиняет кого-то из родственников в омерзительном преступлении, чтобы насладиться местью. Или кто-то крадет твои пенсионные сбережения. Или твой бывший женится на прелестной девушке-подростке.

Я известна как человек, который время от времени точит на кого-нибудь зуб, обычно – на людей негодных. Однако не так давно я была безумно зла на папу – человека, которого любила больше всех.

Проблема в том, что к тому времени он уже тридцать четыре года был мертв. Умер трагически, слишком молодым. Так что можно было бы дать ему кое-какие поблажки.

Не тут-то было.

Я была – серьезно! – идеальной дочерью. Получала ради него отличные оценки, сплывала семью, чесала ему пятки и читала, далеко опережая свой возраст. Позднее научилась ослеплять его друзей очарованием. Ему это нравилось. Я смотрела сквозь пальцы на слабости его характера и ту разруху, в которую они ввергли семью. Смешивала ему выпивку – и пила вместе с ним. Я стала той, кто есть: писательницей, интеллектуалкой, собеседницей – все для того, чтобы угодить ему.

Мне было двадцать три, когда он заболел раком мозга – ему тогда только перевалило за пятьдесят, после чего посвятила себя уходу за ним. Я была рядом с ним каждый день, потому что его подруга Ди и мой старший брат работали, а младший учился в школе. Я два года возила его по врачам, на химию, радиологию. Я не давала умереть надежде на то, что его разум по-прежнему

работает, а потом стала его сиделкой в хосписе и матерью, когда разум отказал.

Я так и не оправилась до конца от его смерти – и тосковала невыразимо. Многое из его жизни и увлечений – литература, пешие походы, птицы, писательство – стало моим. Если не считать тех самых слабостей характера – вино, женщины, обращение с моей мамой, – он был прекрасным отцом: красивым и остроумным, как Кеннеди.

Однако несколько лет назад мне в руки попал дневник, который он вел с того времени, когда обнаружился рак мозга. Собственно, Ди прислала его мне с Восточного побережья, где уже тридцать лет жила с мужем, приложив записку, в которой говорилось, что, как ей кажется, мне хотелось бы иметь этот дневник у себя. Мы с ней не разговаривали с момента смерти папы. Ему поставили диагноз всего через месяц после того, как они полюбили друг друга, и хотя мы знали, что ей достался счастливый билет, между нею и мной с братьями существовала дистанция – и пока папа был жив, и когда он умер.

Я нырнула в этот дневник – в озеро, в котором мой отец снова был живым, – радуясь возможности услышать его голос, горя нетерпением прочесть добрые воспоминания... в основном, разумеется, о нем и обо мне.

Но вместо этого он писал, как утешают его общество и преданность Ди, довольно резко отзываясь обо мне: скажем, как неприятно ему было, когда я порой давала слишком много воли эмоциям. Например, я, не скрываясь, плакала, потому что человек, которого я любила больше всех на свете, умирал таким молодым. Он писал кое-что о том, как я переигрывала, стараясь быть мужественной и не терять надежду. Он писал: «Энни приехала в больницу, полная обычной фальшивой жизнерадостности и скверных шуток».

Прочтя это, я ощутила себя так, будто в известном мне мире отныне не осталось ничего несомненного. Я была уязвлена, потрясена – и не понимала, с чего начать это перерабатывать. Поэтому отключилась.

К следующему дню, когда слезы иссякли, сердце мое окаменело. Я вынесла его – буквально: отнесла дневник в гараж. И призвала всю самооценку, какую сумела наскрести, и гнев. Черт с ним. Какой же мертвый человечешко! Вот и говорите о неудачниках! Seriously ведь – мертв, как гвоздь в притолоке. Я зря тратила свою жизнь, пытаюсь заставить его любить и уважать себя. Сначала надо было поладить с собственной жизнью.

Ага, точно!

Несмотря на разговоры об этом предательстве с лучшими

друзьями, с психотерапевтом и с младшим братом, который был едва упомянут в злосчастном дневнике, я не могла избавиться от негодования. Гематома ушла слишком глубоко – и отравляла меня. Негодование может заставить даже лучших из нас преисполниться чувства превосходства. Я всегда находила в нем некое утешение, словно оно – муляж «обезьяньей мамочки» (эксперимент, в ходе которого в клетку к маленьким обезьянам «подсаживали» обтянутый шкурой столб, игравший роль «матери»).

Негодование может заставить даже лучших из нас преисполниться чувства превосходства.

Я прошла через все стадии креста: обиду, онемение, отвращение, мысли о мести, реверсию к ребяческому ответу Тони Сопрано своей матери: «ты для меня мертва». Тоже мне, рецепт самоуважения: в шестьдесят вести себя, как десятилетний ребенок. Ты мертва для меня – дважды мертва, бесконечно мертва!

Наркоманы и алкоголики расскажут, что выздоровление началось, когда они проснулись в состоянии, достаточно жалком и деградированном, чтобы отважиться на Нулевой Шаг, а именно: «Это дерьмо должно прекратиться». К счастью, имея за плечами двадцать шесть лет в церкви, двадцать пять – выздоровления от алкоголизма, двадцать – блестящей, пусть и пунктирной психотерапии, а также благодаря присутствию любящих друзей я добралась до Нулевого Шага всего за год. Ну, может, за полтора.

Взросление происходило далеко не так эффективно, как я надеялась.

Однако наконец я выбралась из пропасти на Нулевой Шаг. Вся полнота бытия была в дыре сознания своей правоты. Я уже не была готова позволять постоянно вспыхивающему оскорблению обременять меня – и уничтожать все прочие представления о жизни и о самой себе.

Каким-то образом появилось мимолетное сомнение в том, что это *со мной* так поступили, а не что мой отец действовал с позиции собственных страхов и компульсий, своей потребности изложить правду. (Как действовала я с позиции своих страхов и компульсий, а Ди – своих, послав мне дневник и не предупредив о его содержании.)

Начало прощения – это изнеможение. Ты покакала: возблагодари Бога.

К Богу не попасть силой воли. Готовность исходит из движения мудрости и доброй воли – или того, что в безумные моменты импульсивности я называю благодатью. Есть куда более возвышенные примеры, чем собственные. Люди говорили Роберту

Ли в сериале «Аппоматтокс»: «Если ты остановишься сейчас, значит, все эти жизни были прожиты напрасно». Но он ответил: «Довольно. Все кончено». После 1945 года вопреки мнению людей, говоривших: «Давайте вобьем немцев в землю», – в жизнь вступил план Маршалла. Давайте восстанавливать. Давайте поможем нашим врагам восстановиться – и посмотрим, что будет.

К Богу не попасть силой воли. Готовность исходит из движения мудрости и доброй воли – или того, что в безумные моменты импульсивности я называю благодатью

Я покончила с непощением отца или Ди, и это было началом, но я чувствовала себя, как трясущийся посиневший ребенок, которому велят прыгнуть в холодное озеро.

Ужасно, но когда хочешь избавиться от боли, надо на нее настроиться – и подключиться напрямую. Чтобы узнать, сколько токсина в тебя просочилось.

Ужасно, но когда хочешь избавиться от боли, надо на нее настроиться – и подключиться напрямую. Чтобы узнать, сколько токсина в тебя просочилось.

И я начала дышать в кулак, словно ослабляя узел. Воздела очи к отцу, который пребывал на небесах, и это открыло мне его в настоящем свете: он больше никогда не будет живым. Он расплатился сполна. Какой ущербный и сложный человек – какой эрудированный и блестящий! Он смотрел на следы дорожек от уколов на руках моего пятнадцатилетнего брата и делал вид, что ничего не видит. Стоял бдение в Сан-Квентине, когда кого-нибудь казнили в газовой камере. Выстраивал теплые активные отношения между своими детьми и любовницей. Брал нас собирать моллюсков в сильный отлив, копался совочком в пропитанном водой песке, а потом готовил похлебку из собранной добычи. Фантастически писал и зарабатывал на жизнь творчеством, однако умер в долгах. Предал свою давнюю любовницу, с которой еще раньше предал нашу мать, – и жил по словам Эмерсона: «Воистину счастлив тот, кто научился уроку поклонения от самой природы». И встретил смерть с великим достоинством.

Я никогда не узнаю, откуда пришла эта готовность увидеть его настоящего, хотя бóльшая часть прозрений возникает из разговоров с друзьями. Когда мое сердце слегка смягчилось, нутро, этот престол боли, поднялось и удивленно сказала: «Эй, погоди-ка... я это поддерживаю. Я поддерживаю тебя».

Увидев отца истинным, я смогла собраться с мужеством, чтобы противостоять негодованию и сказать себе: больше не лишаюсь чувства скромного великодушия.

Люди любят говорить: «Прощение начинается с прощения самого себя». Как мило! Спасибо, что сообщили. Так – да не так. Прощение определенно не начинается с логических доводов. Рациональное настаивает, что мы правы, стремится к нападению и защите. А это означает, что мира не будет. Оно любит сказочку на ночь – о том, как нас обидели. Рациональное клаустрофобно, поэтому выбор таков: хочешь ли ты застрять в своей правоте, но не быть свободным или признать, что слегка потерялся и стал доступен для долгого, глубокого вдоха – великого, как Вселенная.

Выбор таков: хочешь ли ты застрять в своей правоте, но не быть свободным или признать, что слегка потерялся и стал доступен для долгого, глубокого вдоха – великого, как Вселенная.

Я призвала дух, который обычно рисую себе либо как бриз, либо как Исаака Стерна, но в тот момент увидела женщину-психиатра с планшетом. Она выслушала меня, сказала «Хм-м», кивая, пока я все это выплевывала: обиду, обвинения, изнеможение. Хм-м. Если кто-то очень внимательно тебя слушает, можешь свалить свою ношу к ногам нужного бога, презреть арифметику прибавления вреда, положить грессбух на колени – и поднять глаза. Взгляд вверх – выход наружу. И «хм-м» очень похоже на «ом-м» – звук Вселенной. Хм-м, сказала она, хорошая работа.

Я чувствовала себя так, будто вызволила ногу и часть плеча из стеклянного колпака. Руми писал: «За границей представлений о грехе и праведности есть поле. Я встречу тебя там». В этом поле ты оказываешься под широкой просекой неба, так что эта история становится почти беспредельной – вместо повести о двух маленьких чокнутых людишках с их претензиями и страшилками. Однако приходится вылезти из клетки: этого не случится в зоне комфорта. Но если сумеешь сбежать в это поле, возможно, забудешь все детали и краски истории, в которой (уверен!) ты был прав, но с которой ты обречен.

Итак, жертвуешь потребностью быть правым, потому что тебя несправедливо обидели, – и откладываешь бухгалтерские счета, которые всегда помогали следить за ходом вещей. Это быстро освобождает от судорог и дрожи: можешь разжать пальцы, протянуть руку, раскрыть ладонь.

В какой-то момент этого процесса припомнилось, что ветеринар сказал много лет назад, когда умирала моя старая

собака Сэйди. Он сказал: «Большая часть ее в порядке, и ей по-прежнему очень нравится быть здесь. Болеет лишь очень небольшая ее часть». И я стала осматриваться по сторонам в поисках любой здоровой ткани. Опубликовала роман, который представлял собой любовное письмо к моей семье и Ди. Я почтила их, охватила самые прекрасные и самые забавные моменты в жизни родителей – и с этого романа началась моя писательская карьера. Погрязала в болоте воспоминаний, отматывая их назад от смерти отца, через все эти годы – вплоть до первого воспоминания, когда мне было два или три года и он застегивал пуговицы на моем свитере. Разматывала их вперед через годы, когда часто гуляла с ним после того, как он заболел, и как долго он отказывался признавать, что его мозг поврежден, даже когда стал писать для себя заметки прямо на кухонном столе своей подруги, минуя потребность в бумаге или карточках – и сохраняя при этом все тот же профессорский вид. Даже когда он расчесывал кошек щипцами для барбекю – до чего, возможно, и мне остались считанные недели (кошки, кстати, это обожали). В один из его последних амбулаторных визитов к врачу, когда нам с Ди пришлось поддерживать его на пути из машины, словно он был вдребезги пьян, онколог спросил, есть ли у него какие-нибудь проблемы с ходьбой. Отец обдумал вопрос и сказал: нет, он ничего такого не замечал. Потом повернулся к нам, ко мне и Ди, озадаченный этим странным вопросом, и спросил: у нас есть проблемы? Мы обе пожали плечами, не желая ранить его чувства. Нет-нет, мы ничего такого не замечали.

К определенному возрасту уже знаешь, что, несмотря на видимость, все мы – чудачки: с нашей угловатостью, пинками, отрицанием, осуждением, душевной глухотой, но при этом можем быть настолько славными, что сердце разрывается.

Через несколько месяцев после получения дневника я написала Ди письмо, извиняясь за то, что потребовалось так много времени, чтобы поблагодарить ее. Я написала «с любовью» от чистого сердца, что было истинным чудом.

Простить – значит отпустить на свободу узника – и обнаружить, что этим узником был ты сам

Прощение необязательно означает, что ты хочешь обедать вместе с прощенным. Просто пытаешься расстегнуть тугую застешку-липучку. Льюис Смедис выразил это, как никто другой: «Простить – значит отпустить на свободу узника – и обнаружить, что этим узником был ты сам».

Жаль, что нет коротких путей: для того чтобы исцелить рану, нужно ее обнажить. Отсутствие прощения казалось мне чем-то

вроде друга, двигателем, справно тащившим мою жизнь, пылким маленьким моторчиком. Это помогало.

Позднее Ди прислала мне фотографии своих дочерей и внуков. Я была пристыжена и рада за нее. Она заботилась об отце почти два года у себя дома, а последние месяцы – в нашей семейной крохотной хижине над тихоокеанским рифом. Я начала ощущать нечто вроде осторожной нежности.

Я послала ей фото братьев, своего сына, его сына. Мы вышли за пределы старого уравнения. Я видела корочки на ее пирогах. Вспоминала прогулки с ней и с папой, когда мы уходили в лес так рано, что кролики еще продолжали играть в покер.

Всплывали шипучие пузырьки абсурдности. Я перестала жертвовать собой тому, что больше не существовало – тому, что придумала. Кто знает, какая часть наших историй истинна? Когда перестала жертвовать, отец вернулся – и я поняла, как отчаянно тосковала по нему!

Прощение – это освобождение от себя самой;
долгожданное возвращение к своему лучшему светлому образу.

Прощение – это освобождение от себя самой; долгожданное возвращение к своему лучшему светлому образу. Теперь, когда больше не надо предаваться ядовитой трескотне, пререкаться и сеять страдания, туча жизненных невзгод уже не выглядит такой темной и плотной. Ее раздуло на струйки – дыма, снега, океанских брызг.

Прах и пепел

Пепельная среда в этом году была ранней. Ее назначение – подготовка пути к Пасхе, к воскресению и обновлению. Она дает шанс прорваться сквозь то, что не дает жить основной идеей Пасхи – идеей любви и жизни в чуде, а не в сомнениях. Для некоторых людей пост – символ солидарности с голодающими и жажды по богу. (Я не большая поклонница поста: мысль о том, что придется пропустить хотя бы одну трапезу, заставляет меня сломя голову мчаться на поиски мятного печенья.)

Есть немало способов почтить этот день, но насколько я знаю, ни в Писании, ни в традициях нет указаний, выделяющих эту среду как день, когда нужно вывериться на собственного ребенка, а потом заниматься самобичеванием, пока он забирается на дерево и кричит сверху, что никак не может решить, что лучше – повеситься или броситься вниз.

Полагаю, каждая семья отмечает его на свой лад.

Начну с начала, если позволите. Видите ли, я пыталась за завтраком заинтересовать Сэма Пепельной средой. Приготовила ему какао и произнесла пламенную речь о том, что этот день означает. Мы помазываем свои лбы пеплом, объясняла я, потому что он напоминает о том, как сильно мы тоскуем по тем, кто уже умер, и как мы их воспеваем. Пепел – прах – напоминает нам об окончательности смерти. Как говорят теософы, смерть – это божье «нет» в ответ на самонадеянность человека. Мы порой напоминаем персонажей пьесы «В ожидании Годо», где единственное видимое искупление – появление во втором акте четырех-пяти молодых листьев на хилом деревце. Как можно сотрудничать с благодатью на такой сцене? Как открыть ей себя – и освободить место для чего-то нового? Как возделывать поле? Люди ставят на себе пепельную метку, показывая, что верят в алхимическую реакцию, которую проводит бог, чтобы разбудить нас, побуждая к большему вниманию, открытости и любви.

Сэм очень вежливо прослушал мое маленькое выступление. А потом, когда думал, что я не вижу, включил телевизор. Я заставила выключить. Объяснила, что в честь Пепельной среды этим утром мы не смотрим мультики. Сказала, что он может порисовать, если хочется, или поиграть с «Лего». Я налила себе чашку кофе и начала просматривать альбом с фотографиями. Одна из них сразу завладела вниманием. На ней в черно-белых тонах была изображена большая меннонитская семья: муж, жена и пятнадцать детей, собравшиеся вокруг отполированного до блеска овального стола, на глянцевой поверхности которого

сверхъестественно четко отражались их лица. Они выглядели сюрреалистичными и серьезными: в вытянутых торжественных лицах слышалось эхо Последней Вечери. Мне захотелось показать эту фотографию Сэму. Но тут внезапно и отвратительно Элвин и бурундуки запели песенку на свой гнусавый демонический манер – в телевизоре, который снова включил Сэм.

И я попросту лишилась разума. Казалось, вот-вот начну крушить все вокруг. Включая Сэма. Я завопила во всю мощь легких, употребила слово «долбаный» – типа «чертов долбаный телевизор, от которого мы избавимся». Схватила сына за тонкое плечико и потащила в комнату, где он провел следующие десять минут, заливаясь горячими слезами.

Это так ужасно – набрасываться на своего ребенка! Это худшее из всего, что я знаю – громко орать на двадцатипятикилограммовое существо с огромными доверчивыми карими глазами. Это – как дать пощечину спилберговскому Инопланетянину.

Я проделала все, что делают в таких случаях хорошие родители: успокоилась, чтобы пойти извиниться, одновременно выражая глубокую озабоченность его характером. Он сказал, что я самый злой человек на земле. Мы поговорили, и он вернулся к рисованию. Я безмолвно корила себя, моя после завтрака посуда, но потом настало время идти в школу, а я нигде не могла найти сына. Искала повсюду: в шкафах, под кроватями – и наконец услышала его крики из кроны нашего дерева.

Я умаслила его, уговорив спуститься вниз, отвезла в школу и чувствовала себя ужасно весь день. Повсюду, где бы ни оказалась, вокруг были бизнесмены и бизнес-леди, целенаправленно марширующие по своим делам со святым пеплом на лбу. Я никак не могла пойти в церковь до вечера, чтобы получить свой собственный пепельный *тилак* – напоминание о том, что я прощена. Я подумывала о том, чтобы забрать Сэма из школы и еще немножко поизвиняться. Но у меня хватило мозгов держать руки подальше от сына. Теперь, в свои семь лет, он отделяется от меня изо всех силенок – и ясно дает понять, что надо предоставить ему больше свободного пространства. Ныне даже не разрешается говорить ему, что я его люблю. В этом он твердо стоит на своем.

– Ты все время говоришь, что любишь меня, – объяснил он недавно, – и я больше не хочу, чтобы ты это делала.

– Вообще? – уточнила я.

– Я хочу, чтобы ты говорила мне только, что я тебе нравлюсь.

Я пообещала, что очень постараюсь. В тот вечер, укладывая его спать, я сказала:

– Спокойной ночи, золотко. Ты мне очень-очень нравишься.

В темноте повисло молчание. Потом он отозвался:

– Ты мне тоже нравишься, мам.

Так что я не стала забирать его из школы. Несколько раз выходила гулять и думала о пепле. Было грустно оттого, что я ужасный человек, самая злая мать в мире. Становилось еще грустнее. И я принялась думать о прахе мертвых.

Дважды я держала в руках прах людей, которых обожала: моего папы и подруги Пэмми. Почти двадцать лет назад поздним вечером развеяла прах отца над водой неподалеку от острова Энджел; мне было двадцать пять лет, я была сильно пьяна – и скорбь была притуплена. Открывая ящичек с его прахом, я думала, что он будет красивым и нежным и... в общем, пепельным, как тот пепел, которым мы помазываем лбы в Пепельную среду. Но человеческий прах – чрезвычайно зернистый, скрипучий материал, как не очень качественный ландшафтный гравий.

В тот день я ссыпала горсть Пэмми в воду за мостом Золотые Ворота, вместе с ее мужем и родственниками; к тому времени я уже несколько лет была трезвенницей. И на сей раз сумела разглядеть глубоко противоречивую природу праха: он одновременно и тяжелый, и легкий. От него невозможно избавиться полностью. Он ко всему липнет – к пальцам, к свитеру. Я слизала прах подруги с ладони, чтобы ощутить его вкус, чтобы ощутить ее вкус – вкус того, что остается после пожирающего пламени. Он отдавал металлом и летел во все стороны. Мы пытались романтически развеять его с борта катера, под рев морских котиков с прибрежных скал, но он не желал с нами сотрудничать. Прах редко так делает. И это расстраивает, когда надеешься на счастливую концовку или, по крайней мере, маленькое завершение; этакий киношный момент: ты подбрасываешь его в воздух, а он трепещет и рассеивается. Прах так не делает. Он липнет, он преследует. Он забивается в волосы, в глаза, в одежду.

Это один из даров, которые приносят дети: после того как рождается ребенок, все становится куда как менее упорядоченным и рациональным, чем прежде.

К тому времени как я погрузила руку в ящичек с прахом Пэмми, у меня был Сэм, так что можно вытерпеть чуть больше таинственности и отсутствия порядка. Это один из даров, которые приносят дети: после того как рождается ребенок, все становится куда как менее упорядоченным и рациональным, чем прежде. Как странно – и здорово! – смотреть в лицо этого совершенного

существа и понимать, что получил его в результате изматывающего приступа секса... А потом, имея вес среднего арбуза, они продолжают расклинивать твое сердце. (А еще помогают понять, что ты чокнутая, безумная, сумасшедшая – и способна на насилие только потому, что Элвин и бурундуки запевают свою песенку, как раз когда ты пытаешься поймать славный духовный момент, размышляя о пепле.) К тому времени как я набрала в горсть прах Пэмми, мне почти нравилось то, что он укореняет меня во всей этой печали и таинственности; удавалось найти в этом утешение. Существуют особого рода нежность и внимание, которые ты можешь, наконец, уделить крохотным крупинкам жизни, после того как зароешься пальцами в прах человека, которого любила. Поэтому я слизала его с пальцев. Пэмми была самым крепким и сладким человеком, какого я знала.

Сэм после школы вернулся с другом, поэтому я видела его всего несколько минут, пока он не ушел ужинать со своим Большим Братом Брайаном, как делает каждую среду. Я отправилась в свою церковь. Лучшим во всей вечерне было то, что мы пели старые гимны *a capella*. Присутствовали всего семь человек, не считая меня, в основном женщины – чернокожие и белые, в основном хорошо за пятьдесят, в платочках, с подкрашенными губами. Одна из пожилых женщин была в плохом настроении. Я обнаружила, что это меня очень пугает, словно я – стюардесса, у которой на руках одна расстроенная пассажирка, не позволяющая себе помочь. Я пыталась привести ее в лучшее расположение духа лестью и лавиной вопросов о работе, о ее саде и о собаке, но она не желала ничего слушать.

Поначалу это обескураживало, пока я не вспомнила другую женщину из нашей церкви, очень пожилую южанку, чернокожую, которая носила поддельные наряды от Коко Шанель, свитера из полиэстера, дакроновые шляпки-таблетки. Словом, денег у нее не было. Она всегда была образцом жизнерадостности – пока ей не исполнилось восемьдесят и она не начала слепнуть. Вера ее была чрезвычайно сильна, и все полагали, что она приспособится и найдет смысл в утрате – смысл, затем принятие – и радость. Всем этого хотелось, потому что, давайте смотреть правде в глаза, это так вдохновляет и приносит облегчение, когда люди способны выносить невыносимое – а ты можешь организовать все так, чтобы казалось, что произошло маленькое чудо: любовь в очередной раз оказалась больше страха, смерти и слепоты. Но женщина не желала ничего слышать. Она погрузилась в глубокую депрессию и в итоге ушла из церкви. Наши старейшины понесли ей причастие в первое воскресенье месяца – домашний хлеб и виноградный сок

для таинства, и еще немного хлеба, чтобы приготовить тосты, – но она больше не желала быть частью общины. Должно быть, ее раздражало, что все пытались манипуляциями превратить ее в более стойкого бойца, чем она была способна. Я считала это героическим поступком – отказ от притворства, чтобы люди осознали: утраты бывают невосполнимы.

Я считала это героическим поступком – отказ от притворства, чтобы люди осознали: утраты бывают невосполнимы.

И все же в Пепельную среду я пела – пела о вере, о любви, о покаянии. Мы разорвали надвое тканевые коврики, символизируя покаяние, нашу готовность разорвать прежние шаблоны и предвкушать новое; мы погрузили пальцы в пепел и помазали им лбы. Я просила у небес стойкости, чтобы вытерпеть таинственность и неподвижность. Молилась, чтобы сын смог мне доверять – и чтобы я вновь доверяла себе.

Когда пришла домой, Сэм уже спал. Брайан уложил его в постель. Хотелось разбудить сына и сказать, что я не возражаю, если он не желает быть тем, кем я пытаюсь его видеть, и это нормально, что он общается со мной не все время. Но не стала. Он лежал в моей кровати, когда я проснулась следующим утром, лежал на левом боку, плоский и неподвижный, точно лучик света. Я стала наблюдать, как он спит. Рот был открыт. За последние две недели он отрастил два огромных передних зуба, широкие и белые, точно подушечки жевательной резинки. Он храпел – громко для такого маленького мальчика.

Мне снова припомнилась меннонитская фотография. В лицах тех пятнадцати детей, отражавшихся в столешнице, видна была хрупкая свирепость их взаимных уз: было ощущение, что может налететь ураган и сдуть этих людей с глянцевого полированного стола. И свет, сиявший вокруг них там, где они стояли, был таким эфемерным, что казалось: если исчезнут отражения, исчезнут и дети.

Больше всего на свете я не хочу, чтобы когда-нибудь ветры унесли Сэма, но знаете что я вам скажу? Его унесет. Его прах будет липнуть к пальцам человека, который его любит. И, может быть, приведет его в такое место, где все наперекосяк – и невозможно выстроить жизнь по ранжиру. Но вдруг он увидит несколько молодых листочков на голом деревце.

– Мам? – внезапно позвал он во сне.

– Да, – прошептала я, – я здесь.

И он вскинул руку на мой голос, забросив ее мне на плечи.

Любовь к собаке – как всякая истинная любовь – безгранична и слепа. Так что неудивительно, что из нас с Сэмом буквально вышибло дух, когда умерла Сэйди. Я обещала ему, что когда-нибудь мы купим щенка, но втайне решила никогда не заводить собаку. Я не хотела больше боли, не желала, чтобы сердца – мое и ребенка – были разбиты вновь. Но то, чего желаешь, дается не всегда: хочешь защитить свое дитя от боли – и вдруг получаешь благодать. И хотя богословы утверждают, что дается она бесплатно, расплачиваться порой приходится втридорога.

Начать с того, что нам вообще не следовало заводить собаку, ибо они умирают. Это – горькая правда. Когда сердце разбито смертью домашнего любимца, в этом нет никакого трагического благородства.

Когда Сэму было два года и президентом был Джордж Герберт Уокер Буш, я заметила, что большую часть времени мучаюсь депрессией и страхом. Я решила сменить место жительства, выйти замуж за вооруженного мужчину – или найти свирепую, но благовоспитанную собаку. Однако мужчины, в которых влюблялась, были весьма далеки от ношения оружия. Так что я уцепилась за идею о собаке.

Некоторое время обращалась к людям, которые давали объявления о продаже собак в местной газете. Они говорили, что у них идеальные собаки, но – для кого? Для Квентина Тарантино? Хозяйка одного пса уверяла, что тот обожает детей, но пес, рыча, набросился на Сэма. Другие собаки облаивали нас. Одна поспешила спастись бегством и описалась от страха. Так что я взяла инициативу в свои руки и дала объявление о том, что требуется добродушная сторожевая собака, и на следующий же день позвонила женщина и сказала, что как раз такая собака у нее есть.

Как оказалось, у нее действительно была великолепная собака: роскошная двухлетка по кличке Сэйди – наполовину черный лабрадор, наполовину золотистый ретривер. С виду она была похожа на черного ирландского сеттера. Я всегда говорила людям, что она смахивает на Иисуса в черном меховом тулупе или на Одри Хэпберн в шубке от «Блэкглама»: элегантная, ласковая и глупенькая – настоящая леди!

Поначалу она была очень стеснительна. Наш ветеринар сказал, что ее, должно быть, обижали в детстве, потому что она ужасно боялась не угодить. Пришлось ложиться на пол и медленно на нее надвигаться – чтобы она видела, что мы не

затеваем ничего дурного, а просто играем. Она пыталась казаться беспечной, но видно было, что ее что-то тревожит. Из всех сил старалась нас полюбить – и училась играть (вежливо).

Сэйди, всеобщая любимица, прожила с нами больше десяти лет, помогая справляться с радостями и утратами. Утешала во время болезней друзей, после смерти бабушки и дедушки. Мы каждый день водили Сэма в школу. Она была матерью, отцом, психотерапевтом. Помогала переживать моих бойфрендов и оловянное пустое одиночество. Поддерживала Сэма после предательства его первой неверной подружки. Позволяла моей матери бесконечно гладить ее по голове. Учила утешению – и давала его.

Незадолго до того, как Сэму исполнилось тринадцать, у нее развилась лимфома: на шее вздулись лимфатические узлы размером с мяч для гольфа. Ветеринар сказал, что она проживет еще месяц, если мы не будем ее лечить. Какая-то часть меня хотела позволить ей умереть, чтобы мы могли с этим покончить, оставив позади боль. Но мы с Сэмом обговорили этот вопрос и решили дать ей половинную дозу химиотерапии: хотели, чтобы она прожила еще одну великолепную весну. Спустя два дня Сэйди стало лучше. Должно быть, она обладала великой способностью к исцелению: еще два года – восемь сезонов – у нее время от времени случались ремиссии. Ближе к концу, когда она снова сильно заболела и, похоже, о выздоровлении уже речи не шло, ветеринар сказал, что проведет нас через ее смерть. Он сказал, что, даже когда живое существо крайне тяжело больно, 95 процентов его на самом деле по-прежнему здорово и благополучно – и лишь пять процентов чувствуют себя дерьмово. Поэтому нам следует сфокусироваться на тех частях, с которыми все в порядке, которые доставляют Сэйди удовольствие: прогулки, обнюхивание разных разностей и общение с нами.

Наш ветеринар не любит усыплять животных, если только они не страдают; Сэйди, похоже, не испытывала боли. Он сказал, что однажды она заберется под кровать и не выйдет оттуда, и для этого момента он даст нам седативные препараты, чтобы помочь собаке оставаться по возможности спокойной. И однажды она заползла под кровать...

Там была такая прохладная темная пещера – под моей кроватью, с большим, мягким, точно мох, ковром. Дышала Сэйди с трудом. И выражение морды было извиняющееся.

Я позвонила ветеринару и спросила, не нужно ли мне ее привезти. Он сказал, что она будет чувствовать себя в большей безопасности, умирая дома, со мной, но я должна приехать, чтобы забрать лекарство. Он дал мне три заряженных шприца. Я взяла

их с собой под кровать, вместе с телефоном, у которого был выключен сигнал, легла рядом с ней и стала уверять, что она хорошая собака, хоть и не сможет, похоже, больше о нас заботиться. Я молилась, чтобы она умерла быстро и без боли – ради нее же самой, но и потому, что мне хотелось, чтобы это случилось до того, как Сэм вернется из школы. Я не хотела, чтобы он видел ее мертвое тело. Она задерживалась. Я дала ей лекарство, молилась, нежно разговаривая с ней, и позвонила ветеринару. Он попросил меня положить телефон возле ее головы и с минуту прислушивался.

– Право, ей неплохо, – уверил он меня. – Это тяжелый труд, все равно как схватки. Но у нее есть вы, Иисус и наркотики. Всем бы нам так везло!

Я оставалась рядом с ней на ковре под кроватью, а потом она приподняла голову, чтобы оглядеться, точно черная лошадь, – и вздохнула, и положила голову, и умерла.

Я не могла поверить, что Сэйди ушла, несмотря на то, что она так долго и тяжело болела. Но чувствовалось, что нечто огромное, как приливная волна, нахлынуло – и снова отхлынуло.

Я плакала и плакала и позвонила своему брату и невестке; Джейми сказала, что Стиво нет дома, но она оставит ему записку и прямо сейчас едет ко мне. Я снова стала молиться – о том, чтобы мой брат приехал сюда до того, как придет из школы Сэм, чтобы он смог увезти тело Сэйди, чтобы пощадить Сэма, чтобы избавить меня от Сэмовой утраты.

Я то и дело бросала взгляд на часы. Уроки должны были закончиться через полчаса.

Джейми и их собака Саша прибыли через семнадцать минут после того, как умерла Сэйди. Я вытащила ковер из-под кровати. Сэйди была так же прекрасна, как всегда. Мы с Джейми уселись на ковер рядом с ней. Саша – маленькая беленькая собачка с чайного цвета пятнами, ушками торчком, нежными глазками и ярким танцевальным талантом (мы называем ее чехословацким цирковым терьером); перед ее очарованием невозможно устоять. Она облизывала нас и подбегала к Сэйди, и ее вылизывала тоже. Потом возвращалась к нам, словно говоря: «Я – жизнь, и я здесь! И ушки мои торчат под таким залихватским углом!»

Наконец приехал Стиво, всего за несколько минут до того, как должен был прийти из школы Сэм. Я хотела, чтобы Стиво поспешил и отнес Сэйди в машину, но было слишком ужасно думать о том, что Сэм застанет его тайком выносящим Сэйди – как взломщика, крадущего телевизор. Я жалобно вздохнула и стала молиться, чтобы у меня хватило сил достойно выполнить эту задачу. Стиво сел рядом с Джейми. Затем пришел Сэм и

нашел нас. Он горько заплакал и сел один на мою кровать, над Сэйдди. Глаза у него покраснели, но спустя какое-то время Саша его рассмешила. Она то и дело подбегала к Сэйдди – мертвой, почившей на ковре. Она прыгала на кровать, чтобы расцеловать Сэма, а потом позаботиться и о нас – словно доктор, обходящий пациентов.

А затем началось нечто невероятное: приехала моя подруга Нешама. Я позвонила ей и сообщила горькую новость. К Сэму забежал приятель, проезжавший мимо, и отец его тоже зашел и точно тень проскользнул позади Сэма, сидевшего на кровати. Потом звякнул дверной звонок – это оказался еще один друг Сэма, который просто проходил мимо, а потом парнишка, который живет выше по холму, забежал, чтобы попросить велосипед. Он тоже остался. Это было как сцена в парадном зале из «Ночи в опере». Пятеро взрослых, четверо детей, один белый чехословацкий цирковой терьер и одна большая мертвая черная собака.

Один из Неизменных законов человеческого бытия состоит в том, что, кто бы ни объявился, это – нужный в тот момент человек.

Но один из Неизменных законов человеческого бытия состоит в том, что, кто бы ни объявился, это – нужный в тот момент человек, и, клянусь, это были нужные люди. Сэйдди была похожа на собаку-остров, а мы – на плáвник, образовавший кольцо вокруг нее. Жизнь и смерть – мы пытались удержать вместе то, что не желает удерживаться, но потом – вдруг – чудесным образом складывается.

Иногда мы сконфуженно умолкали, словно играли на полу в детском саду, а нам следовало прилечь и подремать, но воспитательница куда-то вышла. Наконец, мальчишки поднялись на второй этаж и включили на всю катушку рок-н-ролл. Взрослые задержались еще на некоторое время. Я принесла с кухни пакет шоколадных конфет, и мы ели их, поднимая – словно бокалы в тосте. По мере того как Сэйдди остывала, мы начинали понимать, что ее здесь больше нет – она не собиралась ни двигаться, ни меняться. Так что Стиво вынес ее, закатанную в ковер, в мой минивэн. Это было так неуклюже и так мило: большой нескладный сверток размером с машину – погребальная ладья и саркофаг Сэйдди.

Мы еще много дней слышали фантомные звуки Сэйдди – стук по дереву когтей и хвоста, частое дыхание. Сэм был попеременно то отстраненным, то липучим, то злым, поскольку я – первый человек, которого он пинает и к которому льнет. Я оставалась

достаточно близко, чтобы он мог меня оттолкнуть. Сэйди постепенно уплывала прочь.

А потом с бухты-барахты друзья подарили нам пятимесячного щенка по кличке Лили. Она была мила и благовоспитанна. Не ошеломительная красавица, какой была Сэйди, но душка, и любит нас, и мы ее обожаем. Однако порой все еще бывает больно оттого, что потеряли Сэйди. Это было подобно плавучим гирляндам художника Энди Голсуорси: желтые, красные и зеленые листья, соединенные шипами и уплывающие прочь по течению. Они кружились и подплывали к берегу, попадали в ловушки водоворотов – и снова плыли, освобожденные. Ты точно знаешь, что они распадутся, как только скроются из виду, но никогда не исчезнут окончательно.

Мама

Часть первая. Норат

В сверхчеловеческом шоу духовной зрелости я не так давно переместила прах матери от задней стенки шкафа, куда засунула его через несколько недель после того, как она умерла. Передвинула на 12 дюймов вперед, в переднюю часть шкафа, поставив рядом с тремя маленькими сосновыми ящичками, в которых в прошлом году нам вручили комковатый прах наших домашних любимцев, после того как они прошли реинкарнацию и сделались ударными инструментами. Прах матери отдали в коричневой пластиковой коробке, запаянной наглухо, на которой имя было написано неверно: Дороти Норат Уайлс-Ламотт. Ее звали Нора, а не Норат. Она терпеть не могла имя Нора, которое я люблю, да и «Дороти» быть не пожелала. И звалась «Никки» – именем персонажа радиопрограммы, которую любила слушать в детстве, в Ливерпуле.

Я была учтиво-сердита на нее на протяжении большей части жизни, даже после того, как она умерла. Когда убирала ее прах в заднюю часть шкафа, это было принятие желаемого за действительное: смогу, наконец, с ней покончить. Размахивающая рукавами фигура в белом не восстанет из праха и не скажет: «О малышка моя, моя дорогая доченька, я теперь здесь – наконец-то!»

И только передвинув ее на фут вперед, в священное пространство рядом с животными, начала молиться. Я молилась об умягчении своего сердца, о прощении и любви к матери за то, что она мне дала: жизнь, великие ценности, множество уроков тенниса – словом, все лучшее, что могла. Увы, это лучшее было ужасно, и в сердце моем обитали двойственные чувства.

Я молилась об умягчении своего сердца, о прощении и любви к матери за то, что она мне дала: жизнь, великие ценности, множество уроков тенниса – словом, все лучшее, что могла. Увы, это лучшее было ужасно.

Итак, я оставила ее в шкафу на два года, пока работала над прощением за то, что она была запуганной, неистовой и ненасытной утробой психологической зависимости и высокомерия. Пожалуй, это звучит резко. Я полагала, что Иисус хочет, чтобы я простила ее, но я также знаю, что Он любит честность и прозрачность. Не думаю, что Он нетерпеливо закатывал глаза, пока она пребывала в шкафу. Думаю, Его мало

чем удивишь. Так совершаем мы важные изменения – по капле, неуклюже, медленно. И все равно Он победно воздевает кулак.

Я всю жизнь пыталась справиться с тем, что у меня была такая мать, как Никки, и должна сказать, что с первого же дня мне было легче с мертвой матерью, чем с живой. Я называла ее Норат – в качестве *nom de mort*. Одни вещи я ей простила, другие – нет: не простила за то, что оставалась в браке, похожем на лихорадочный бред, за то, что фанатически толкала нас к достижениям, за то, что позволила себе из яркой красавицы превратиться в чудовищно разжиревшую тетку в убогой одежде и безвкусной маске косметики. Не все было черно-белым: я очень любила ее, и заботилась о ней, и гордилась некоторыми героическими поступками, которые она совершила в жизни. Она заставила себя окончить юридическую школу, вела славные добрые битвы за справедливость и гражданские права, выходила на марши против войны во Вьетнаме. Но ее можно уподобить человеку, который сломал мне ногу, а она плохо срослась – и мне предстояло хромать вечно.

Невозможно притворяться, что она не причинила мне значительного ущерба – это называется отрицанием. Но я все равно хотела танцевать, пусть и с хромой ногой. Знаю, что прощение – составляющая свободы, но даже после смерти матери я не могла даровать ей амнистию. Прощение означает, что ты уже не хочешь ударить в ответ. Необязательно проводить вместе отпуск, но, продолжая отвечать злом на зло, ты остаешься в ловушке кошмара.

Прощение означает, что ты уже не хочешь ударить в ответ. Необязательно проводить вместе отпуск, но, продолжая отвечать злом на зло, ты остаешься в ловушке кошмара.

Я хранила ее в шкафу рядом с нашими любимцами – ее и ее темно-синюю сумочку, которую отдали медсестры, когда я навещала ее в пансионате месяца за три до ее смерти. Время от времени я брала в руки ее прах и говорила: «Привет, Норат». А потом ставила обратно. Моя жизнь стала весить на двадцать фунтов меньше после того, как она умерла, и это было освобождающее ощущение – испытывать такой гнев после того, как была хорошей и верной дочерью. Но спустя много месяцев я по-прежнему думала о ней так же, как думаю о Джордже У. Буше – с недоумением: как такой человек мог стать главным, и со смятением, и с чем-то похожим на ненависть. Я решила проверить, удастся ли отыскать какие-то пятнышки света. Друзья советовали молиться и не делать резких движений: учитывая, как

велика была ярость, сумела бы я увидеть светлячков в языках пламени? Следовало продвигаться как можно осторожнее и как можно глубже в тайну наших отношений. Я не могла развеять прах – коробка была запечатана навечно. Так что я стала пересматривать содержимое ее сумочки.

Она была похожа на докторский саквояж, потрепанная и пыльная, с двумя ручками. Я раскрыла ее и начала вытаскивать пачки «Клинекса», как фокусник вытаскивает из рукава бесконечные ленты. Как это угнетало – и сказать нельзя. Материн «Клинекс» угнетал страшно: всегда пах худшим, что было в ней, всеми ее стараниями замаскироваться косметикой, духами, лосьоном, помадой, пудрой, и все это – тошнотворное. А еще она вытирала нас своим «Клинексом», чтобы отмыть от грязи, смочив его своей слюной. Это было отвратительно. В последние годы единственное, что она делала, – шарила рукой в поисках салфетки, а найдя, забывала, зачем. Она почти никогда не плакала – ее родители были англичанами; салфетка осталась неиспользованной, а мать тонула в невыплаканных слезах.

Синдром невыплаканных слез сделал мою мать гипербдительной, не способной внутренне успокоиться, или, пользуясь психиатрическим термином, неадекватной.

Она таскала эту сумку повсюду. Это был груз, балласт; он привязывал ее к земле, в то время как разум уплывал прочь. Сумка была ее здоровьем и ее подготовленностью – ко всему. Например, там был пластырь в товарных количествах. Никогда не знаешь, когда тебе понадобится пластырь, известно только, что в этом мире без него не обойтись. Там были кубарики бумаги с клейкой полосой; они придавали уверенности в том, что она сможет следить за ходом вещей – если бы она не забывала записывать важное и куда-нибудь приклеивать записки. А потом не забывала взглянуть на них.

Там были ключи от дома, и это заставило меня опечалиться из-за того, что я отняла у нее свободу. Но у моей матери была невероятная жизнь для человека, больного болезнью Альцгеймера и диабетом 2-го типа – столько, сколько мы могли это тянуть. Мы помогали ей сохранять независимость, и прекрасный вид из окна, и кошку, и друзей – вплоть до самого конца. Когда мы поместили ее в лечебницу, свободы она так или иначе лишилась. У нее была лишь свобода падать, когда вставала пописать, свобода лежать на мокрых простынях, свобода застрять на балконе и не помнить, как попасть обратно...

В ее сумке были зеркальца, чтобы видеть, что она все еще здесь: я еще здесь? Ку-ку! Вот она я. Там был десяток чеков из супермаркета, расположенного прямо через улицу от «деревни

пенсионеров», где она жила. Ей полагалось сидеть на строгой низкоуглеводной диете, чтобы держать в узде диабет, но все чеки до единого были за хлеб и печенье, которые она тайком покупала, убегая из пансионата, когда медсестры или я уходили. Мне вообще-то нравится такая черта в женщинах. Она также покупала десятками тюбики «Хрустального света» – сильно ароматизированного диетического растворимого напитка, который смешивают с водой. Должно быть, надеялась, что он влетит прямо в ее мозг...

Я все откладывала и откладывала момент, когда открою ее бумажник. Там должны были быть фотографии.

Еще в ее сумке нашлось несколько квитанций из нашей организации медицинского обеспечения. Медсестры время от времени передавали ей их и велели держать при себе до востребования, и она слушалась, поскольку была хорошей девочкой. Она любила своих медсестер и своего врача, так что эти квитанции были словно любовные письма, которые никогда не выбрасываются. У нее была карточка с прямым номером медсестры, которая помогала ей подстригать чудовищные носорожьих ногти на ногах. Люди всегда дарили ей что-нибудь особенное, вроде своего прямого номера, потому что она была такой ищущей признания, и полной достоинства, и бедняжкой – хотелось вознаградить и помочь ей. Люди выстраивались в очередь, чтобы обслуживать ее, чтобы служить ей – всю жизнь.

Еще там была большая, тяжелая туба зубной пасты. Может быть, она купила ее однажды в супермаркете да так и забыла выложить. Может быть, ей нравилось, когда люди бросали беглые взгляды на содержимое ее сумки; оно говорило о ней: пусть я и заблудилась, зато дыхание мое свежо – или могло бы быть свежим. Там были три бутылочки лосьона «дорожных» размеров, тюбик губной помады, компакт-пудра и шесть визиток компаний такси – «безопасно, дружелюбно, профессионально». Как раз то, что нужно человеку в этом мире. К тому же она всегда могла добраться домой, если заблудилась – что случалось с ней все чаще и чаще.

Наконец я открыла ее бумажник. Он был заполнен карточками. Она хранила библиотечные карточки, которым исполнилось не одно десятилетие, членские карточки демократической партии, ACLU (*американский союз защиты гражданских свобод. – прим. ред.*) и клуба «Сьерра». Там были две кредитки, срок действия которых истек намного раньше, чем у ее разума. У матери были безумные, деструктивные отношения с деньгами – как у людей с расстройством психики. Ей всегда было мало: она набрасывалась на вещи, набирала полные сумки,

забивала шкафы – только чтобы вырваться из дискомфорта и страха. Совершала разбойничьи набеги на магазины.

У матери были безумные, деструктивные отношения с деньгами – как у людей с расстройством психики. Ей всегда было мало: она набрасывалась на вещи, набирала полные сумки, забивала шкафы – только чтобы вырваться из дискомфорта и страха.

Там были фотографии моего племянника Тайлера, сына старшего брата, и Сэма. Ей очень нравилось быть бабушкой. А еще там была старая фотография ее самой – черно-белое фото девушки лет двадцати. Она была красивой женщиной, чуть похожей на Теду Бара: то же белое лицо, те же угольно-черные волосы. У нее были темные глаза, полные нестигаемого интеллекта, и невыразимой тоски, и жажды нравиться. На этом фото она выглядит так, будто пытается силой воли принудить себя к элегантности, в то время как жизнь ее всегда была тяжелой, беспорядочной, полной неразборчивого хаоса. Ее по-лягушачьи растянутый рот силится улыбаться, но она не может, а может, и не хочет, потому что тогда будешь выглядеть красавицей и победительницей – и не будет того, кто стал бы помогать, или служить, или спасать.

Она хранила все карточки тех лет, когда занималась семейным правом на Гавайях, карточка Ассоциации судебных адвокатов штата Гавайи и ее гавайская водительская лицензия, срок действия которой истек в 1985 году. На фотографии на этой лицензии она загорелая от гавайского солнца, нежная и розовая, точно вышла из теплых вод, но глаза испуганные, словно она вот-вот снова уйдет на глубину. И ушла – и пыталась спастись, вцепляясь в наши загривки.

Ее сумка говорит: «Я либералка и бабушка, и я поддерживаю чистоту зубов и мягкость кожи. А в случае если что-нибудь забуду, могу записать это заранее. Если же порежусь, сразу заклею ранку пластырем». От вида ее сумки у меня защемило сердце. Большую часть ее содержимого я выбросила – «Клинекс», лосьоны, зубную пасту и саму сумку. Сумка была как старый орган, в котором она больше не нуждалась. Все, что лежало в бумажнике, я сохранила, даже старые библиотечные карточки. Глянула в одно из зеркалец. Меня пугает, насколько мы похожи. Теперь я ношу очки, как носила она. Выгляжу усталой – я и есть усталая. Кроме того, у меня вырос валик ниже пупка, хотя прежде я щеголяла стройной фигурой.

Закончив, я положила материн бумажник обратно в шкаф, рядом с ее прахом. Произнесла молитву. Я сказала Иисусу: «Вот.

Не мог бы ты присмотреть за ней еще немного?» И оставила его еще на шесть месяцев.

А еще в то время было счастье, потому что я влюбилась. Через несколько месяцев после начала этих отношений я поехала с бойфрендом на Гавайи, хотя до поездки меня очень тревожило, как я буду выглядеть в купальнике. Психотерапевт посоветовала мне втирать вкусно пахнущие, целительные лосьоны в бедра и украсить их цветочными татуировками. Это изменило мою жизнь, и хотя я и не стала Брижит Бардо, выступив из пляжных одежек, но действительно ощущала себя намного красивее.

Благодать означает, что ты внезапно оказываешься в абсолютно иной вселенной, нежели та, в которой застряла и откуда не было шансов выбраться самостоятельно.

Как-то раз без видимой причины я вспомнила тот первый день на пляже – лосьон и татушки с бумажными розами. И что-то сдвинулось в моем бестолковом и недовольном «я». Может быть, я перестала сопротивляться истине о том, что я плоть от плоти своей матери – плоти, от которой остался лишь символ. Я пошла и вынула коричневую пластиковую коробку с прахом из шкафа. Хорошенько натереть ее лосьоном не удалось бы, но я несколько минут посидела с ней на коленях. Валик на моем животе отлично подходит для того, чтобы усаживать на него детей, так что я позволила матери полежать на нем. А потом решила обернуть коробку в подарочную бумагу, лавандово-голубую с серебряными звездочками, и приклеила на нее картинку с изображением красной розы. Меня немного занесло – эй, с посмертным днем рождения, Норат! – ибо дело в том, что я не полностью простила и не полностью приняла ее. Я и от желудка своего не без ума, но лажу с ним лучше. Кроме того, прошла лишь часть одного дня, а я уже перестала ее ненавидеть. Благодать означает, что ты внезапно оказываешься в абсолютно иной вселенной, нежели та, в которой застряла и откуда не было шансов выбраться самостоятельно. Когда это случается – перестаешь ненавидеть, приходится себя ущипнуть. Иисус сказал (это не точная цитата): «Смысл в том, чтобы не ненавидеть и не убивать друг друга сегодня и, если получится, помогать забытым и бессильным». Так что я взяла прах матери и поставила его на полку в гостиной. И некоторое время постояла рядом.

Мама

Часть вторая. Никки

Прах моей матери стоял на полке в гостиной, обернутый в подарочную бумагу, еще несколько недель. Я проходила мимо по многу раз в день, пока в какой-то момент не научилась улыбаться той горсточке, которой она стала. Я давно оставила всякую надежду когда-либо испытать добрые чувства в связи с тем, что она была моей матерью. Она представляла собой смесь гневной ветхозаветной предвзятости, перепуганной учтивости, заблуждающегося английского высокомерия. И, Бог мой, как же она раздражала! Я говорю это объективно. Можете порасспросить моих братьев или ее сестру. Когда-то в ее присутствии у меня начинался паркинсоновский тик. Но со временем сердце смягчилось, а потом и разум успокоился. Как бы то ни было, мать одарила меня глубоким невротическим интеллектом – в виде ДНК, памяти и тех странных уроков, которые мне давала. И все они суть одно. И все это – я.

Как бы то ни было, мать одарила меня глубоким невротическим интеллектом – в виде ДНК, памяти и тех странных уроков, которые мне давала. И все они суть одно. И все это – я.

Всю жизнь я помогала матери таскать за собой ее психические сундуки, точно озлобленный коридорный. Эта великая ноша стала сваливаться лишь после того, как она умерла: мало-помалу, день за днем.

Долгое время я вообще по ней не тосковала, но проклятая коробка из крематория, содержавшая ее прах, никуда не девалась. Постепенно время смягчило мое сердце, и в какой-то момент я обнаружила, что прощаю ей все больше и больше, хотя о серьезных вещах речь не шла – например, о том, что она вообще жила – и жила долго... И все же мозаичные кусочки прощения были каким-никаким началом. Я видела лоскутки прогресса: однажды, проходя мимо коробки с ее прахом, сказала вежливо: «Привет, мамуля!» Обнаруживала, что улыбаюсь ей, проходя мимо, как если бы она сидела там, за книжкой. И вот что случилось дальше.

Америка вступила в войну с Ираком, и мой пастор, Вероника, прочла блестящую проповедь о том, что теперь, когда война бушует на Ближнем Востоке, не время пытаться все расставить по полочкам, как то: кого следует винить или за кого мы хотели бы

голосовать. Не время выстраивать новый план и пытаться протолкнуть его. Сейчас время быть неподвижными, объединяться, верить в то, во что верили всегда: в дружбу, доброту, помощь бедным и голодающим. Так что после ощущения разбросанности я приняла слова Вероники близко к сердцу – и начала успокаиваться при любой возможности: уходить на более долгие прогулки в горы, сидеть в просящей молитве и нетерпеливой медитации. Мой разум продолжал прокручивать суровые и резкие тирады, но я мягко отвлекала себя и говорила: «Эти мысли – не истина, они не достойны доверия, но предназначены лишь для развлекательных целей». Со временем стали появляться более спокойные мысли о матери, я стала видеть ее, как выражался богослов Говард Турман, «тихим взором». В моем случае – не совсем тихим. Но тихим для меня.

Джералд Мэй писал: «Благодать ставит под угрозу всю мою нормальность». Да, потребовалось два года, чтобы вынести ее на свет из темного, пыльного шкафа. Теперь я почувствовала, что пора вместе с семьей развеять ее прах, почтить ее. Проблема в том, что мать я не почитала. Намерение такое было, но единственное, что я ощущала, было сожаление при мысли о том, какой тяжелой была ее жизнь, и радость, что она наконец «успела» – так старейшины нашей церкви называют смерть. «О да, она успела»; полагаю, с богословской точки зрения они правы.

Проблема в том, что мать я не почитала. Намерение такое было, но единственное, что я ощущала, было сожаление при мысли о том, какой тяжелой была ее жизнь, и радость, что она наконец «успела» – так старейшины нашей церкви называют смерть.

Вот на каком этапе я была, когда Вероника призвала к неподвижности. И когда я это сделала, снова обнаружила, насколько гибок и коварен человеческий дух: потихоньку выбирается из-за кустов, как мультияшный кот, и накидывается на тебя из засады, если не поостережешься; обманом заставляет выдать чайную ложечку негодования и сделать еще один шаг назад с замороженной земли. Мой ожидал в засаде с того дня, когда я нашла фото своей матери, сделанное, когда ей было шестьдесят, и хотя мое сердце не воспарило, оно подпрыгнуло – неуклюже, словно у него оказались связаны шнуры.

На фото на лице ее была обычная маска из косметики, которая всегда казалась мне способом поддерживать как личину, так и поверхностное натяжение; она меня унижала. Но на этой фотографии вместо ощущения унижения я наконец сумела разглядеть то, в чем была цель матери: казаться красивой,

достойной, энергичной женщиной. Она позирует перед вазой с цветами, перехватив одно запястье другой рукой, словно пытаясь измерить собственный пульс. К тому времени она была в разводе уже восемь лет или около того. Одна бровь выгнута дугой, словно один из нас снова сказал что-то двусмысленное или общественно неприемлемое. Одна треть ее во тьме, две трети на свету, что многое объясняет.

Видно, каким она была отважным маленьким моторчиком, несмотря на то, что за долгие годы лишилась всего: мужа, карьеры, здоровья. Но оставались друзья и семья, и она хранила яростную верность либеральному делу и обездоленным. И я подумала: что ж, это я уважаю – с этого и начнем.

Следующее, что помню, как я звонила родственникам, большинство из которых по-прежнему живут в области залива, где мы выросли, и приглашала их на обед в день рождения матери (и ее сестры-двойняшки), чтобы развеять ее прах. Этот ее прах столкнулся с неожиданной трудностью: наша жизнь стала лучше после ее смерти – но я полагала, что если мы ее освободим, мир освободит нас, да и она сможет освободить себя. Ее освобождение надкололо бы мою жесткую скорлупу – или у меня случился бы нервный срыв, и я бы опять запила, и нам с Сэмом пришлось бы отправляться жить в миссию спасения. Но я знала – именно так надо поступить.

Через две недели три тетки, один дядя, полдюжины кузенов, брат и невестка, шестилетний двоюродный брат Сэма Даллас и Гертруда, которая всю жизнь была лучшей подругой матери, собрались на ужин в моем доме. Обожаю этих людей! У меня, конечно, случались ссоры с некоторыми из них, говорились ужасные вещи, один из них обвинял меня в великих грехах, за которые не видать мне прощения. Здесь имелись все обычные проблемы: неудачные браки, реабилитация, старые обиды, жалкие неуклюжие семейные тайны, резкость и напряженность. Но если бы было время, я рассказала бы вам, как мы любили и заботились друг о друге все эти годы. Мы – обычная пестрая американская семья, которая все еще держится вместе. По праздникам свекор моей подруги Нешамы, бывало, обводил взглядом свое семейство, качал головой и говорил: «Вот ведь какое мы лоскутное одеяло». Чудесно!

После обеда мы двинулись пешком вверх по холму к открытой площадке, ближайшей к моему дому. Одна из теток, которая велела мне говорить, что ей пятьдесят четыре, теперь еле ковыляет и ей нужно опираться на чьи-то руки. Даллас прилепился к Сэму, который волочил его с собой, как ручную кладь, но явно довольный. Ветер был будь здоров, и солнце

начинало клониться к закату. Сэм с Далласом рванули к вершине холма, а мы, держа друг друга за руки, сдуваемые и сбиваемые ветром, прошли дрожащей процессией остаток пути.

Солнце садилось за призрачное облако, освещая его, накладывая поверх круг света, точно формочку для печенья. Вокруг нас, на краю травяной лужайки, кружком собрались эвкалиптовые деревья; выглядели они так, будто придерживали землю, как кирпичи на скатерти для пикника в ветреный день. И были они единственными предметами между нами и горизонтом. Ветер заставлял чувствовать себя все более беззащитными. Он был таким шершавым, что сдирал с нас кожу, – но, как кто-то заметил, повезло нам, что у нас есть тела, на которые можно наброситься. Даллас носился между нами, дурачась и заигрывая с Сэмом.

– Кто-нибудь хочет посмотреть мои фейерверки? – то и дело выкрикивал он. – Кто-нибудь хочет пойти и посмотреть их?

– Когда закончим, – сурово сказала ему мать. – А теперь оставь нас в покое.

Мы несколько минут постояли кружком.

– Я знала, что, если позову вас приехать сегодня вечером, вы приедете, – сказала я.

Мы все немножко всплакнули. Кузины действительно любили мою мать. У нее был нежный голос, сказала одна из сестер, и она всегда была добра к ним. Гертруда промолвила:

– Жизнь по природе своей сурова, и у Никки бывали ужасные срывы. Это несправедливо – то, как все для нее обернулось. Но она сделала много добра в своей жизни, и мы всегда будем по ней скучать.

– Да, будем скучать, – отозвались эхом несколько человек, точно в церкви. На сердце у меня вдруг стало тяжело от тоски по ней, хоть прежнее привычное отчаяние от того, что она была моей матерью, никуда не делось. Я лишь попыталась дышать.

Причина, по которой я не перестаю надеяться, заключается в том, что все на свете – безнадежно. И это подводит итог всему: глубокой печали в средоточии жизни, пробоинам в сердцах и в семьях, животной растерянности внутри нас самих; безумию короля Георга. Но когда оставляешь всякую надежду, многое может случиться. Когда она не извивается, прищипленная к сияющему образу или ожиданию, то иногда воспаряет и раскрывается, как какой-нибудь из японских цветков, хрупких и судорожных, ярких и теплых. И это, похоже, почти всегда происходит в общине: с родственниками, по крови или по выбору; в церкви – для меня; на маршах в защиту мира.

Причина, по которой я не перестаю надеяться, заключается в том, что все на свете – безнадежно. И это подводит итог всему: глубокой печали в средоточии жизни, пробоинам в сердцах и в семьях, животной растерянности внутри нас самих.

Потом мой брат Стиво отошел от места, где мы стояли, и принялся вскрывать пластиковый ящичек ножом. «Хотите посмотреть мои фейерверки?» – завопил Даллас, и мать снова шикнула на него. Он носился по склону холма. Это отвлекало, словно щенка запустили в церковь, но солнце рассеяло мое раздражение, и я вспомнила замечательное наблюдение К.С. Льюиса: «На самом деле мы видим не свет, а более медленные тела, которые он освещает». За исключением Сэма и Далласа, мы были большими и медлительными, как стадные животные у водопоя. Мы смотрели, как Стиво вынимает мешочек с прахом и раскрывает его, пуская по воле ветра. Он швырнул Никки прочь от заката, ветер подхватил ее и со свистом увлек вдаль. Конечно, часть праха полетела обратно, осев на моего брата и Гертруду, которая стояла рядом с ним, разбрасывая цветы вослед. Прах всегда липнет и преследует тебя еще долго после того, как ты развеешь его; брат выглядел так, будто только что чистил камин.

А потом Даллас снова крикнул: «А теперь хотите посмотреть мои фейерверки? Неужели никто не хочет посмотреть мои фейерверки?» Мы повернулись лицом к солнцу – и ждали. Он пошарил по карманам, вынув полные горсти каких-то предметов, и швырнул их в воздух. Это была всего лишь мелкая галька, волшеббно засиявшая в последнем луче солнца.

Мы – не то, что делаем, а то, что получаем. Я узнала это в свои шестьдесят лет от старшего брата, а он только что – от меня. Ему вчера исполнилось шестьдесят два. Последнее, что помню – как он снимал свои зубные скобки.

Когда он вышел из гостевой спальни, чтобы выпить кофе, я отпустила замечание по поводу пучков волос, торчащих из его ушей. Он притворился, что не слышал, приложил ладонь к уху и завопил: «Что такое?!» Когда мой дорогой племянник позвонил, чтобы поздравить папу с днем рождения, я взяла трубку и велела Тайлеру говорить как можно громче. «Теперь твой отец глух, как дорожный столб», – сказала я. Это была неправда, хотя на протяжении последних десяти лет он временами превращался в калеку из-за ревматоидного артрита.

Ростом он чуть выше шести футов, имеет густые седые волосы и карие глаза нашей матери. Он коренастый и мускулистый, хотя последний раз ходил в спортзал во время президентства Картера.

По-настоящему я знала его всего пару лет. Всегда была близка с младшим, Стивом, который помогал мне растить сына, но был еще Джон – блудный братец. Многие даже не знают, что у меня есть старший брат, поскольку двадцать пять лет назад он уехал в соседний город и не баловал нас визитами. Все изменилось два года назад.

Мы несколько раз ездили его навестить. Мы любили Джона, его жену и сына – однако насадившись временем, проведенным вместе, с облегчением вычеркивали этот пункт из списка дел.

Мы с его невестой Конни отпраздновали день рождения братца, позволив ему спать допоздна и приготовив ему кофе. Накануне они побывали у известного целителя, который, как они надеялись, мог помочь Конни победить рак. Сегодня они покинули мой дом после завтрака, чтобы совершить еженедельный визит в онкологическое отделение медицинского центра Калифорнийского университета в Сан-Франциско, где она проходит клинические обследования по поводу четвертой стадии рака груди, осложненного метастазами. Она резко отрицательно относится к идее проводить дальнейшую химиотерапию, поскольку в мае они с братом должны пожениться и она надеется не оказаться на свадьбе лысой и совершенно разбитой.

Они – два счастливейших человека, встреченных мною за долгую жизнь. Мелькнула даже мысль, что они красуются, чтобы задеть меня, но нет: просто очень любят друг друга – и Бога.

Умение взять ворох разрозненных деталей и заставить их работать, как слаженный механизм, никогда не было сильной стороной Джона. Во всяком случае, с нашей семьей это не получилось. Семья была вполне обычной: благонамеренной, с множеством зависимостей, тайн и психических расстройств. Энергия всех и каждого уходила на выживание и самолечение, а также на косметические маски и борьбу с близорукостью.

Джону было два года, когда родители привезли меня домой из больницы, чтобы разрушить его жизнь. Он посмотрел на меня и заявил маме с папой: «Увезите это обратно». До моего рождения он был блестящим, не по годам развитым ребенком – в два года уже хорошо говорил, но потом резко затормозил.

Принц был низложен. Через пять лет после меня родился наш младший брат. Родители сбивались с ног. Возможно, сумели бы успешно вырастить одного ребенка. А лучше было бы разводить орхидеи или лам... Мы со Стивом начали читать к четырем годам. Джон не мог за нами угнаться да и не пытался. Вместо этого делал все, что было в его силах, чтобы поднять настроение, включая всевозможные сумасбродства. Я его раздражала – и при моих странных взглядах на жизнь была сущим позорищем. Братец частенько меня поколачивал. Он вкладывал в семью малую часть своей энергии, в то время как я тратила большую часть жизненной силы на старания удержать нас вместе. Он уехал из родительского дома; я отправилась на восток, в колледж. Мама и папа наконец развелись.

Когда отец заболел, Джон порой заезжал, чтобы поужинать с папиной любовницей, Стиво и со мной, но эти визиты были краткими – чтобы не успеть поссориться. Мы всегда были рады видеть его, он умел быть теплым и приветливым, но ему всегда надо было спешить, поскольку он только что познакомился с женщиной, на которой потом женился и прожил тридцать три года. Когда отец стал беспомощным, мы с братом купали его, управлялись с катетерами, следили за гигиеной рта. Я бы тоже с удовольствием этим не занималась.

И, да, мы все трое пили и употребляли наркотики.

Жалкое подобие порядка, которое еще оставалось в жизни моей и Стиво, разрушилось, когда отец заболел, но мы оставались друг у друга – и, пьяно пошатываясь, брели вперед. Пять лет спустя Джон стал трезвенником и «чистым», что сделали и мы со Стиво двумя годами позже. Джон переехал еще дальше.

Он женился на той чудесной женщине, с которой тогда познакомился: прекрасно воспитанной, утонченной, со здоровыми реакциями на происходящее. Это была совершенная засада – после детства в нашей сумасшедшей, похожей на лисью

нору семейке. Ему и хотелось засады, а не хаоса. Мы между собой называли его Бразерменом – сокращением из «Кошки на раскаленной крыше» – поскольку это он был успешным сыном.

Джон получил хорошую работу в страховом бизнесе и купил дом с бассейном. Уму непостижимо: наш безрассудный братец-хиппи стал правильным и успешным, с таким впечатляющим фасадом. Мы же: Стиво, я и мама – были ранимыми, сверхчувствительными, психологически зависимыми; мы были банкротами.

Мама безумно любила Джона – намного больше, чем Стиво и меня, которые помогали ей ходить за покупками, возили по неотложным делам – и никогда не вычеркивали из жизни. И что это нам дало? Ну, да, великое благословение служения, правильного поступка, бытия маленькой церковной мышкимастьячки. Когда Джон звонил ей, она восклицала: «Ну разве он не душа?» Упоминала об этих звонках при любом разговоре, день за днем. «Ой, мы так мило поговорили с Джоном! Разве он не душа?» Принимать это было тяжело, и это не его вина. И все же...

Его жена была мило-отстраненной, ребенком – чудесным и легким в общении, сам он получал повышения, в то время как мы со Стиво были сущим позорищем среди кузенов и дальних родственников; жизнь была полна прорех. Но у нас были отличные дети, и мы были друг у друга. А еще в жизни был бог, прекраснейшие друзья и пешеходные тропы округа Марин.

С Джоном мы разговаривали по телефону раз в несколько месяцев, и дважды в год, если повезет, он наносил нам краткий царственный визит. Щедро одаривал наших детей: своего племянника и племянницу. У него было безукоризненное чувство момента: он никогда не являлся на старомодные каникулы с тетками, дядьями и кузенами, но всегда приурочивал свое появление к знаменательным событиям. Джон приезжал на свадьбу Стиво и на похороны нашего любимого дядюшки. Так получилось, что он был в городе в последний день, который провела на этой земле наша мать. Так что он всегда бывал отмечен в гостевой книге – и вкушал плоды по полной программе.

Все сходили с ума, если объявлялся брат Джон, особенно – я сама. Его присутствие делало любое событие особенным. О мой бог, здесь кузен Джон, собственной персоной!

Я искренне любила его и знала, что он любит меня, но это ни о чем не говорило. Воспоминания о том, как он стыдил меня в детстве, по-прежнему причиняли боль. Жгло то, как мало он сумел помочь и с папой, и с мамой. Однако я не знаю, каков он изнутри: что чувствовал и какую цену уплатил за то, чтобы

пережить наше странное детство.

Годы назад у Дага Хаммаршёльда я наткнулась на строчку: «Прощение – ответ на детскую мечту о чуде, с помощью которого разбитое снова становится целым, запачканное вновь делается чистым». Я поняла, что с нами этого не случится: родители наши мертвы, а Джон – это просто Джон.

Прощение – ответ на детскую мечту о чуде, с помощью которого разбитое снова становится целым, запачканное вновь делается чистым.

Первый признак того, что в скорлупе появилась трещина, наметился, когда он пришел в одну фундаменталистскую церковь с тысячей прихожан и рок-группой. Прежде вера его совершенно не интересовала, но уже час спустя он стал одним из столпов этой церкви, учителем Библии и вождем молодежи. Наши церкви были разными по стилю и политике: он был строгим евангелистом, но теперь, когда он приезжал в гости, мы могли всю ночь разговаривать об Иисусе, о таинствах веры, о движении благодати и об искуплении – вопреки всему. Потом он уезжал домой, и шли месяцы до следующего разговора.

Джон по-прежнему обладал такой красивой непробиваемой оболочкой, что когда бог, наконец, добрался до его переломного момента, Ему пришлось приложить руку: у Джона открылся жестокий ревматоидный артрит, который надолго укладывал его в постель в периоды обострений. Брат урезал свою трудовую жизнь наполовину, нуждался в трости при ходьбе, затем – в коляске. У него начала уплотняться и местами отмирать печень. Езда «по ровненькой дорожке» кончилась.

Джон понимал: надо что-то делать. Потянулся к Богу – и понял, что Он, со своим абсурдистским юмором, подарил ему нас: меня и брата.

Мы приняли его, не задумываясь. Просто мы его любили. Вот и вся история – любовь. Он был старшеньким. Джон начал приезжать и гостить в моем доме по выходным вместе с собаками: когда они с женой расстались, он взял двух из трех маленьких собачек. Одна – элегантная маленькая старушка по кличке Элли, чудесная, но властная, царственная и страдающая недержанием; другой, по кличке Бакстер – невротик, которому приходится носить специальное собачье пальто, помогающее справляться с тревожностью, в котором он похож на пациента в смиренной рубашке. Полагаю, у него тоже имеются проблемки с недержанием, хотя отдувается за обоих Элли. Так что при каждом приезде Джона у меня в доме были четыре собаки, один кот, который пугался незнакомых маленьких писающихся собак, один

взрослый сын и один маленький внук. Стиво с женой и дочерью часто приезжали на ужин, и, к великому счастью, это не было похоже на уик-энд в старом доме. Это было новое созвездие Ламоттов.

Наш общий коллективный стаж трезвости составляет 84 года. Неплохо!

Джон обрел убежище среди людей, которых всю жизнь обижал и игнорировал. Я все еще точила на брата маленькие клычки и опасалась, что он снова нас бросит, но мы постепенно выросли. Благодать и усталость от самой себя позволили его простить. Я не хотела больше вести счет. Я всегда выигрывала, но получала «призы для отстающих». Энни, 17, Джон, 11 – вот ваша дорожная кружка, мисс. Если бы не освободилась, впереди не ждало бы ничего, кроме очередного дерьма и дыр, но поскольку я это сделала, возникла возможность контакта: глубокого, невозможного. Потерять эту возможность было бы предприятием безумным, на которое вряд ли хватило бы энергии.

Два года назад он прибыл погостить, и мы ездили к побережью, и состоялся откровенный разговор. Он признался мне в одну из наших поездок, что его брак, возможно, заканчивается, поскольку сын уехал учиться в колледж. Не один год это было для них чем-то вроде бизнеса – совместное воспитание замечательного сына. Никаких обид. И пусть его браку не суждено было выжить, семья все равно продолжала бы существовать – в виде брата и сестры. И это хорошо.

Когда мы начали в глаза называть Джона Бразерменом, кажется, ему это понравилось.

Восемь месяцев назад, когда он гостил у меня и раскошелился на дядюшкин манер на пиццу для семейного ужина, Джон намекнул, что его заинтересовала женщина, с которой познакомился в церкви; ее дочь занималась в его молодежной группе.

– О! – воскликнули мы с братом. – Расскажи-ка о ней.

Он сказал, что Конни прекрасна и внутренне, и внешне, на год моложе него, имеет двух дочерей: одна, ближе к сорока, имеет двоих детей, другая, восемнадцати лет, живет с матерью. Он сказал, что у нее чудесный позитивный взгляд на жизнь, теплое обаяние и хорошее чувство юмора, а главное – они могут разговаривать сутками напролет, день за днем.

– Да она похожа на совершенство, – заметила я.

– Но есть один сложный момент, – признался Джон, – помимо того, что я не разведен.

Ну да, подумала я, она только-только начала изучать английский, или у нее стеклянный глаз, или она разводит дома

змеи. Что угодно.

– У нее метастатический рак груди с метастазами в печени. Она заболела год назад и дважды проходила серьезную химиотерапию. Была одно время ремиссия, но теперь нет.

– О-о, – протянули мы вежливо, хотя мне хотелось добавить: ходу, Джон, ходу! Будь ее дорогим другом – или бросай ее скорбное канцерогенное «я». Я больше не вынесу – поскольку это всегда сваливается на меня.

Вместо этого брат по уши влюбился в эту красивую, достойную обожания, неизлечимо больную женщину – и это сделало его лучше. Он сумел сплести достаточно широкую сеть, чтобы удержать ее.

Однажды на выходные он привез Конни в мой дом – и это была любовь с первого взгляда для всех. Мой четырнадцатилетний внук рассыпался на кусочки от любви в ее присутствии. Она такая красавица, фигуристая, со снежно-белыми волосами и яркими голубыми глазами, с белыми зубками, длинными ногами, с уютным животиком – полный комплект. И ходит она так же быстро, как я, или, по крайней мере, ходила до последнего цикла «химии». Ее истинная красота – внутри: в доброте, великодушии, мужестве. Отныне мы были обречены: мы станем помогать ей, чем только возможно, обеспечивать молитвенную поддержку. Будем рядом.

Через две недели после знакомства врач обнаружил опухоли в ее легких. Специалисты не могли лечить рак легких в Чико, так что ее направили обратно в медицинский центр Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Но ей пришлось бы жить рядом с центром. Когда проходишь клиническое обследование, идет сплошная череда сканирований, ЭКГ и так далее, поэтому необходимо находиться поблизости от клиники.

Так что они с Джоном и двумя собаками приезжали и оставались на две-три ночи почти каждую неделю на протяжении шести месяцев.

Рядом с ней – легко, хотя она может довести до белого каления, потому что не умеет принимать дары, чтобы не попытаться возместить. Например, постоянно моет посуду и убирает вещи. Разбирает на составные части мою кухню, точно это машина. И говорит: «Это меньшее, что я могу сделать», – словно обязана отплатить мне. В результате я часто не могу найти то, что ищу. Если она когда-нибудь прочтет эти строки, я хотела бы обратить ее внимание, что мы не ставим фрукты в холодильник. И еще я не видела свою терку для сыра с тех пор, как Джон начал привозить Конни к нам.

Она не жалуется на свою участь, борясь за выживание. Но сохраняет надежду на то, что исцелится. Мне это непонятно. Хочется встряхнуть ее и сказать: «Ради любви господней, что с тобой такое? Скули, детка. Завывай и стенай».

Наутро после того, как выяснилось, что у нее метастазы в легких, мы отправились на прогулку в Олений парк. Мы обе видим славу божью в птицах, и в диких цветах, и в лугах, где, кажется, вот-вот внезапно появится медведь, и в рассеянном свете. Разница в том, что у нее нет того черного юмора, на который всю жизнь полагалась наша семья как на средство выживания. Например, в то утро мы миновали кучку перьев, а потом тушку зяблика. Она вздохнула: «Бедняжка!» Мы пошли дальше, касаясь плечами.

Еще две недели назад она была сладкоежкой, как Джон или я, хотя брат утоляет свою тягу к сладкому ненасытно, точно пес, в то время как я все же стараюсь держаться подальше от сладкого. Они продолжают привозить с собой сумки с плитками шоколада невероятных размеров, упаковки мороженого «Клондайк». Я просила их этого не делать, умоляла, но потребовалось время, чтобы проработать этот момент. Как мне кажется, пик случился однажды в субботу, когда я обнаружила в морозилке две упаковки «Клондайка», который они едят после того, как я лягу спать; заодно Конни привезла мне двухфунтовый пакет с шоколадом. В этот же уик-энд я послала Джону из супермаркета сообщение, что иду домой, и спросила, не нужно ли им чего-нибудь. Он ответил: «Все в порядке. Конни печет». Я схватила за голову и понеслась домой.

А дом благоухал двадцатью четырьмя глазированными банановыми мини-маффинами, которые она испекла. Разгневанная, я напомнила им, что не употребляю сахара.

– Попробуй хотя бы один, – попросила она. Я сказала: спасибо, но нет. Я способна устоять перед десертами на основе бананов. Мой брат жизнерадостно сказал:

– Просто попробуй штучку – это фирменное блюдо Конни.

– Нет, спасибо, – снова сказала я. Но они так просто не сдавались. Я уж думала, придется застрелить одного из них – или обоих. Наконец, Бог свидетель, Конни подошла ко мне с теплым глазированным банановым маффином в руках и сказала:

– Это был рецепт моей матери.

Я выхватила его и откусила раз, потом другой. Потом съела несколько маффинов целиком. Пришлось спрятать оставшиеся восемнадцать или около того, но, к счастью, я сумела отыскать их утром и съесть еще несколько. Мне потребовалось четыре дня после их отъезда, чтобы вернуть сахар в норму. Оставшиеся

«Клондайки» я выкинула. На следующей неделе они притащили еще.

Однако со временем поняли – и перестали привозить так много сладостей. Я, в свою очередь, перестала морщиться, если они допускали ошибки. Удивительно, насколько хорошо мы справляемся, потому что это – нелегкий учебный процесс для всех нас, а предстоит еще более трудный. Мы не только получили назад своего старшего братца, но и слегка помяли его – в лучшем смысле слова. Он смягчил свою позицию в отношении людей; не думаю, что он по-прежнему остается евангелистом, а если и остается, то не слишком фанатичным. Например, на Рождество я наблюдала, как он запал на трансвестита-конферансье на гигантском световом шоу ЛГБТ «Мировое древо надежды» в ротонде Сити-холла. Пару раз он упоминал о нем на следующий день, называя «она» – Донна.

Джон стал новым человеком, как и обещал богу: он ощущает свою небезупречность, негибкость и смехотворность – и позволяет нам быть рядом. Бросает взгляд вдоль длинного темного коридора жизни и понимает, что не способен заклеить трещины скотчем; теперь его не обмануть. Этот коридор заполучит всех нас; возможно, первой – Конни, но теперь мы будем держаться вместе в этой вновь обретенной любви.

Воздушное

Лыжный патруль

Не так давно я каталась на лыжах в горах, где мы с Сэмом проводим по паре выходных почти каждую зиму. Ныне он частенько пропадает где-то с ордой сноубордеров. Полагаю, он несколько стесняется, когда его видят с мамой; однажды, стоя рядом с ним и приятелем у подножия горы, я опрокинулась на спину без всякой на то причины. А в самый первый раз, когда пошли кататься вместе, проехала странно медленным шагом около сотни футов, угодив прямо в огромную сеть у подножия склона, возведенную для защиты маленьких «медвежат-лыжников» от крушений. А потом запуталась в ней, точно рыба.

После исчезновения Сэма я обычно поднимаюсь на фуникулере на вершину «детского» склона для пары спусков, с которыми справился бы кто угодно. И праздную победу! Несусь вниз по легкому уклону, воображая себя олимпийкой. Преисполнившись уверенности, штурмую самый легкий из склонов потруднее, на котором сначала падаю или скольжу вниз на заднице, но потом, несколько отрезков по четыре-пять минут, еду по-настоящему. И ко второму спуску по «продвинутому» склону триумфально держусь на ногах почти все время.

Но на этот раз, когда подъемник донес меня до вершины продвинутого склона, с которого только что съехала, я испытала мгновенную растерянность – вероятно, порожденную гормонами, большой высотой и легким снегопадом. Не сумела вспомнить, действительно ли площадка, к которой мы приближались, та самая, с которой я только что съехала вниз. Кресла замедлили ход и снизились, чтобы люди смогли высадиться; соседка выбралась и молнией унеслась прочь, я же продолжала сидеть, разрываясь между желанием соскочить и мыслью о том, что моя остановка – следующая.

Кресло дернулось вперед и возобновило подъем. Я стала оглядываться по сторонам, ища знакомые приметы, но видела лишь стайки ярко одетых лыжников и была совершенно уверена, что это не моя остановка... пока секунду спустя не осознала, что ошиблась – и проехала свою остановку. К этому времени кресло было уже в четырех-пяти футах над землей и продолжало подниматься. Но я не позволила этому обстоятельству запугать меня: сделала долгий глубокий вдох, извиваясь, соскользнула на край кресла и бросилась в снег – как каскадеры бросаются на крышу набирающего скорость поезда или клоун седлает на ходу брыкающегося мустанга, вытаращив глаза на потеху толпе.

Вероятно, я была примерно в пяти-шести футах от земли в то

вневременное мгновение вечности, после которого рухнула в снег. Приземлилась тяжело, вновь доказав теорию земного притяжения, еще миг каким-то образом стояла на лыжах, затем – опрокинулась.

Не думаю, чтобы кто-нибудь видел нечто подобное: человек летит в открытый космос с такой низкой стартовой точки. Я чувствовала себя Икаром, близким к гибели в снегу, с тающими лыжами вместо крыльев.

И тут же осознала две вещи: я не сильно пострадала, а большинство людей притворились, будто ничего не заметили – по доброте душевной, от ужаса или по причине мучительного стыда. Я – вечная дочь своей матери, поэтому первым побуждением было уверенно улыбнуться всем и помахать ручкой, точно политик, проводящий встречу с избирателями из редко используемой горизонтальной позиции.

– Со мной все в порядке, – сказала я двум красивым женщинам, которые подошли и предложили помощь. Они сочувственно поохали и покатали прочь. Я уселась и оперлась на руки, уперев локти в снег за спиной.

К тому времени, как я наконец встала, руки превратились в ледышки. Я запыхалась, была пристыжена, растеряна, избита – и благодарна лишь за то, что Сэм меня не видел. Он бы умер, закололся бы лыжной палкой, раз за разом втыкая ее в голову.

И стоило подумать, что хуже уже не будет, как подступила тошнота – волна за волной, как токсикоз у беременных, – и я подумала: меня сейчас стошнит в снег! Леди и джентльмены, приготовьтесь увидеть следующий трюк... Я притворилась, что зажимаю нос от холода, но на самом деле прижимала ладонь ко рту, чтобы сдержать позыв. Голова закружилась, и я взмолилась: «Помоги мне, Иисусе, помоги мне». Так молилась в моей церкви старая женщина по имени Мэри в самых сильных приступах страха и горячки, прямо посреди проповедей и гимнов: «Я знаю, моя перемена грянет, но коснись меня ныне, господь».

Я знаю: сто́ит воззвать, и Бог окажется рядом, выслушает и поможет, но – со временем. Это «со временем» вгоняет порой в отчаяние!

Не знаю, сколько времени я простояла с прижатой ко рту ладонью, поддерживая себя лишь лыжными палками и драной, заплатанной верой. Единственное, что знала – что помощь всегда в пути. Руми говорил: «Кто-то наполняет чашу, стоящую пред нами». Я знаю: сто́ит воззвать, и Бог окажется рядом, выслушает и поможет, но – со временем. Это «со временем» вгоняет порой в отчаяние! Например, прямо сейчас я знаю, что Америка будет

восстановлена, хотя трудно предвидеть это в данный момент; нашей стране и миру может понадобиться столетие или больше, чтобы оправиться от эпохи правления Джорджа У. Буша. Но это произойдет. Бог всегда слышит наши отчаянные крики о помощи – но, право, удивительно, какую форму принимает порой эта помощь. В старом анекдоте человек, чей самолет потерпел крушение в тундре, с горечью рассказывает сочувствующему бармену, что Бог покинул его: он напрасно ждал божественного вмешательства и умер бы в снегу... если бы не какие-то эскимосы, случайно проходившие мимо. Так что, возможно, вскоре мимо проедет высокий сильный мужчина с медицинскими санями, или те добрые женщины, или Иисус в теплых наушниках.

Вместо этого рядом со мной через пару минут притормозила низкорослая полная женщина. На ней была оранжевая шапочка и форменная куртка с символикой лыжного курорта.

– Кажется, меня сейчас вырвет, – предупредила я, чтобы она не слишком приближалась.

– Что ж, тогда давайте просто постоим минутку, – сказала она. У нее были обветренные щеки и маленькие карие глаза.

– Кажется, понадобится помощь, – сказала я; слова, которые всегда приходится выдавливать из себя через силу.

– Вы так жестко приземлились! Я видела вас сверху.

Я покачала головой, ошеломленная, на грани истерики.

– Вы из лыжного патруля? – спросила я.

– Типа того. Я здесь, чтобы помогать при ситуациях, не угрожающих жизни, таких как эта. Почему бы вам не пойти со мной?

Она сошла с лыж и встала на мои крепления, чтобы я смогла выбраться из своих. Мы выбрали лыжи, и я побрела вслед за ней по снегу.

Кое-как добрались до деревянной будочки десять на десять футов, стоявшей в стороне от подъемника. Там обнаружили две длинные скамьи, складной стул и полки, нагруженные предметами первой помощи, бутылками с водой, невымытыми кофейными чашками, рациями; было тепло от керосинного обогревателя. И были два мутных окошка, сквозь которые виднелись заснеженные сосны. Женщина налила в миниатюрную бумажную чашечку воды, но лицо так заледенело, что я не могла шевелить губами – и обливалась водой, как старуха под анестезией в кабинете стоматолога.

Она забрала стаканчик.

– Давайте вначале снимем с вас перчатки, – проговорила она и мягко стянула их. Положила на стул возле обогревателя и сняла

свои.

– Мои – толстые и теплые, – сказала спасительница. – Можете побыть в них, пока не согреетесь. Я скоро вернусь, на этом участке сегодня работает лишь пара человек.

И вышла наружу без перчаток, сунув голые руки в карманы.

Спустя какое-то время я легла, растянувшись, на одну из скамеек и закрыла глаза. От запаха керосина продолжала волнами накатывать тошнота. Я промерзла до костей. В воздухе чувствовался ледяной аромат сосен, который просачивался сквозь стены. Иногда благодать – это полоска прозрачного горного воздуха, проникающего сквозь щели.

В воздухе чувствовался ледяной аромат сосен, который просачивался сквозь стены. Иногда благодать – это полоска прозрачного горного воздуха, проникающего сквозь щели.

Между волнами тошноты я практиковала концентрацию – так же, как делала во время родов: смакуя ледяные кубики и яблочный сок в паузах между схватками. За много миль от дома, в глубоком одиночестве, в вонючей сторожке ощутила я знакомое чувство отделенности: от себя, от бога, от счастливых красивых людей за стенами.

Я думала о женщине из лыжного патруля с ее маленькими карими глазками. Она была похожа на тюленей-монахов, которые выплывают на берег на Гавайях, чтобы отдохнуть на песке. Взрослые тюлени достигают шести-семи футов в длину, и все они похожи на Чарлза Лаутона. Туристы-новички на пляже думают, что они умирают и их нужно спасать, но любой, кто провел там хотя бы сутки, знает, что они выплывают, чтобы отдохнуть. Чистильщики бассейнов из прибрежных курортов приезжают с желтой сигнальной лентой и шоссейными буйками, чтобы огородить места их отдыха. Когда я впервые наткнулась на тюленя, лежавшего на песке, показалось, что он пытается вступить со мной в визуальный контакт: я была его последней и единственной надеждой на спасение. Вокруг глаз налип песок, он был весь в шрамах от акульих зубов. Рори, мой тогдашний бойфренд, который каждый год занимается на Гавайях серфингом, рассмеялся и объяснил, что с тюленями все в полном порядке: отдохнув, они вразвалку ковыляют обратно в океан.

Так и я ощущаю мир, когда меня не слишком заносит: вещи таковы, каковыми им надлежит быть, несмотря на любые свидетельства обратного. Жизнь плывет, тащится по песку, отдыхает; тащится, плывет,

отдыхает.

Так и я ощущаю мир, когда меня не слишком заносит: вещи таковы, каковыми им надлежит быть, несмотря на любые свидетельства обратного. Жизнь плывет, тащится по песку, отдыхает; тащится, плывет, отдыхает.

Обездвиженная, я лежала на скамье. Будь я тюленем-монахом, могла бы подтащить себя в сидячее положение, соскользнуть и, подтягиваясь на лапах, вернуться в океан. Как-то раз Рори видел мать-тюлениху, которая учила детеныша отдыхать, на некоторое время выплывая на песок, прежде чем соскользнуть обратно в волны. Они вдвоем тренировались снова и снова, а потом исчезли в воде. Воспоминание об этом вызвало ужасную тоску по Сэму. Я чувствовала себя выброшенной, и до зарезу нужно было, чтобы время шло быстрее. Я бы не возражала против жизненных схваток, если бы они просто наступали, когда я к этому готова, чтобы можно было снова прийти в себя и вспомнить – что я, собственно, делаю в родах. Иногда человеческое бытие вгоняет в такое уныние! Большую часть времени оно едва мне по силам...

Иногда человеческое бытие вгоняет в такое уныние!
Большую часть времени оно едва мне по силам.

Я прижалась носом к трещине в стене, чтобы чувствовать запах сосен. Больше не могла ждать, когда вернется женщина-патрульная. Она была моим единственным настоящим другом, а я – такой развалиной. Ее голос был мягким и добрым. «О, если бы вы ныне послушали гласа Его, – писал псалмопевец, – не ожесточили бы сердца вашего». Ладно, хорошо, сказала я Богу – и заметила, что перестала быть замороженной развалиной, какой была раньше. Это уже кое-что! Даже могла бы сесть, но хотелось, чтобы патрульная увидела все масштабы моего страдания – если только она когда-нибудь вернется.

Я думала о людях, которых знала по церкви и по некоторым политическим кругам. Они выполняли своего рода психологическое патрулирование мира, помогая тем, кто в беде, выслушивая и предлагая погреться в своих теплых перчатках.

Спустя двадцать минут спасительница вернулась, потирая друг о друга голые ладони.

– Как у вас дела? – спросила она. Поначалу ее энтузиазм встревожил: было ощущение, что сейчас мы перейдем к занятиям гимнастикой. Потом она поняла, что я в порядке и отдохнула. На душе было мирно: она была моим личным чистильщиком бассейна, моей матерью-тюленихой. Я села и вдохнула свежий

воздух из распахнутой двери.

Женщина подала мне чашечку воды, и я быстро осушила ее. Затем подошла к обогревателю и проверила мои перчатки.

– Они полностью высохли, можете их надеть и вернуть мои.

Я встала и вновь чувствовала себя собой, прежней: скриплю помаленьку, но в порядке.

– Я бы на вашем месте спустилась на подъемнике, – предложила она, – если не очень хочется прокатиться на лыжах.

Но мне очень хотелось: ведь один раз я великолепно справилась. Она всячески суежилась вокруг, словно я побывала под лавиной. Я натянула перчатки и вышла наружу, на белый океан льда. Снова нацепила лыжи и направилась к склону. Скользила, падала, снова вставала – и неспешно катилась вниз по горе.

Постучаться в дверь небес

Итак, я – в самолете, возвращаюсь домой из Сент-Луиса. Или скорее вот она я: в аэропорту Сент-Луиса, с вполне разумным расчетом на то, что вскоре мы будем в воздухе, поскольку рейс уже задерживается на два часа. Хотелось побыстрее домой, потому что я не видела Сэма несколько дней, но, учитывая сложившиеся обстоятельства, я полагала, что держусь неплохо – при том, что я скептик и ужасно боюсь летать. За поглощением шоколадок и чтением никчемных журналов провела я эти два часа, пытаюсь быть полезной мающимся пассажирам: раздала все журналы и бóльшую часть шоколадок, принесла воды пожилому мужчине, заигрывала с младенцами, общалась. Не так давно в церкви я была свидетельницей некоторого чуда – и с тех пор чувствовала, что мне полагается идти по жизни с большей верой и глубокой убежденностью в том, что если я буду заботиться о чадах божиих, Он позаботится обо мне. Итак, я надеялась, что как только мы окажемся на борту, все пойдет как по маслу.

Мое представление о том, что в самолете должно идти как по маслу, заключается в следующем: (а) я не погибаю в катастрофе, запечатленной ускоренной съемкой, и меня не закалывают насмерть ножом террористы; (б) никто из пассажиров не пытается заговорить со мной. Все разговоры должны закончиться в тот момент, когда колеса шасси оторвутся от земли.

Наконец нам разрешили подняться на борт. Я сидела в 38-м ряду, между женщиной чуть старше и мужчиной моего возраста, который читал книгу об Апокалипсисе, написанную знаменитым романистом, принадлежащим к правому крылу христианства. В одной газете меня попросили дать рецензию на эту книгу, когда она вышла в свет, потому что я и автор – христиане. Однако, как я указала в интервью, он из правых христиан, которые считают, что Иисус возвращается в следующий вторник сразу после обеда, а я – из левых, которые полагают, что этот писатель попросту одухотворяет собственную истерию.

– Ну, и как вам? – поинтересовалась я, весело указывая на книгу, стараясь быть дружелюбной и в то же время «прощупать» политические взгляды соседа.

– Одна из лучших книг, которые когда-либо попадались, – ответил он. – Вам тоже следовало бы прочесть ее.

Я кивнула. Помнится, в том интервью я сказала, что книга – хардкорная правая параноидальная антисемитская гомофобная женоненавистническая пропаганда, если не слишком деликатничать. Мужчина улыбнулся и вновь погрузился в чтение.

Не могу догадаться, из какой страны была сидящая рядом женщина, хотя, судя по акценту, один из ее родителей мог был латышом, другая – корейанкой (или наоборот). Ее речь напоминала возгласы марсиан из фильма «Марс атакует!»: «ак, ак, ак!» Впрочем, я забегаю вперед.

Пока мы стояли на взлетной полосе, мужчина с книгой об Апокалипсисе отпустил замечание по поводу маленького золотого крестика у меня на шее.

– Вы рождены заново? – спросил он, когда самолет выруливал на полосу. Он был довольно скован и напряжен, может быть, чуточку похож на Дэвида Эйзенхауэра со спазмом прямой кишки. Поначалу не нашлась что ответить.

– Да, – сказала я наконец, – так и есть.

Мои друзья любят говорить, что я – не заново рожденная христианка; что-то в духе Джонатана Миллера: «Я не настоящий иудей – я еврей». Окружающие считают, что я близка к христианству. Но это не так. Я просто плохая христианка. Плохая заново рожденная христианка. И уж конечно, подобно апостолу Петру, отрицаю это, представляясь или левацкой энтузиасткой либерального богословия, или смутно близкой к Иисусу бонвиванкой. И это неправда. Но если начинаешь врать, поднявшись на борт самолета, ты обречена.

Так что я сказала правду: что я верующая, крещеная. Вероятно, еще месяца три – и я прилеплю алюминиевую рыбку-Иисуса к багажнику своей машины, но вначале хотелось бы посмотреть, не нарушают ли подобные наклейки моего арендного договора. И, поверьте, это путает даже мой собственный разум. Я могла бы пойти на собрание омывающих ноги баптистов и полностью вписаться в их среду. (Если не считать дредов.) Омывала бы им ноги – и позволила омыть мои.

Но пока самолет катил по взлетной полосе, сосед принялся рассказывать, как они с женой давали домашнее образование детям, и с ужасающей язвительностью описывал радикальную, «бесплатную для всех», феминистскую, раскрепощенную философию школьной системы его округа. И тут я поняла, что это описание – акт агрессии против меня: он телепатически проник в мои мысли, увидел, что я – враг. А потом самолет резко затормозил.

Мы пару секунд оглядывались по сторонам, а затем во внутренней системе оповещения раздался голос командира корабля, который объявил, что два пассажира хотят незамедлительно покинуть борт. Поэтому мы направляемся назад, к аэропорту. «Что?!» – вскричали все. Радовало то, что на это потребуется всего минута, поскольку за последние два часа

мы продвинулись не намного. Не радовало другое: правила федеральных авиалиний требовали, чтобы служба безопасности осмотрела весь багаж, дабы убедиться, что эти двое случайно не забыли в нем самодельные бомбы.

Латышка вопросительно уставилась на меня. Я очень медленно четко объяснила, что происходит. Она долго-долго пялилась на меня, затем в ужасе прошептала: «Ак».

Итак, весь 38-й ряд принялся за чтение. Соседи казались сдержанными, я же чувствовала себя как в лихорадке, опасаясь нервного тика. Время шло.

Спустя час самолет наконец взлетел.

Все мы, пассажиры 38-го ряда, заказали содовую. Латышка надела наушники и стала слушать музыку, прикрыв глаза; христианин читал свою книгу об Апокалипсисе; я читала «Нью-Йоркер». Потом появился знак «Пристегните ремни», и в колонках вновь раздался голос пилота.

– Мы входим в зону сильной турбулентности, – проговорил он. – Пожалуйста, вернитесь на свои места.

В следующую минуту самолет начало так сильно швырять из стороны в сторону, что пришлось вцепиться в заказанные напитки.

– Ак, ак, ак! – попискивала латышка, давясь своим «Спрайтом».

– Всем занять свои места! – рявкнул пилот. – Предстоит жесткая тряска.

Сердце бухало, переворачиваясь в груди, точно теннисная туфля в сушильном барабане. Самолет поднимался, и падал, и трясся – пилот снова включился и сурово сказал:

– Стюардессы, садьте немедленно!

Лайнер врзался в огромные волны и течения бурного небесного моря, и мы подпрыгивали, и стонали, и ахали. «Вв-ааааа!» – произносили все в один голос, словно катаясь на американских горках. Мы падаем, думала я. Знаю, что основной постулат христианской веры в том, что смерть на самом деле лишь радикальная перемена места жительства, но пришлось зажмурить глаза, чтобы загнать обратно свои страхи. О Бог мой, думала я, о мой бог, я больше никогда не увижу Сэма. Это убьет меня во второй раз. Самолет страшно содрогался, а сосед-христианин читал: спокойно, стоически, очень довольный своей сдержанностью, как казалось моему маленькому истеричному «я». Латышка закрыла глаза и прибавила громкость плеера. Доносились звуки музыки, я, молясь, думала о том чуде, которое видела однажды в церкви.

Один из недавних членов общины, мужчина по имени Кен,

умирает от СПИДа, разрушается прямо на глазах. Он пришел к нам год назад вместе с женщиной-еврейкой, которая бывает с нами каждую неделю, хотя не верует в Иисуса. Вскоре после того как Кен начал к нам ходить, его партнер Брэндон умер от СПИДа. Спустя несколько недель после этого Кен рассказал, что прямо после того как его друг умер, Иисус проскользнул в дыру в его сердце, оставленную потерей Брэндона, и с тех пор пребывает там. У Кена асимметричное лицо, искаженное и истощенное, но когда он улыбается, исходит свет. Он говорит, что с радостью уплатил бы любую цену за то, что у него есть сейчас: Иисус и мы.

У нас в хоре есть чернокожая женщина Ранола: очень полная, прекрасная, жизнерадостная – и абсолютная христианка. Поначалу она несколько свысока относилась к Кену: глядела на него сконфуженно, пряча глаза. Она воспитывалась на юге, в семье баптистов, которые учили, что его стиль жизни – да и он сам – это мерзость. Ей трудно через это пробиться. Думаю, она и некоторые другие прихожанки немного побаивались подхватить эту болезнь. Но Кен приходил в церковь почти каждое воскресенье – и обаял почти всех. Пропустил пару воскресений, когда был слишком слаб, потом, месяц назад, вернулся – исхудавший до последней степени, с перекошенным лицом, словно перенес инсульт. И все же во время молитв он радостно говорил о своей жизни и своем закате, о благодати и искуплении, о том, каким защищенным и счастливым он себя ощущает ныне.

В то воскресенье в качестве первого гимна, так называемого «утреннего», мы пели «Лестницу Иакова»: «Каждая ступень поднимается все выше, выше» – в то время как Кен не мог даже встать. Но самозабвенно пел сидя, положив сборник на колени. И когда настало время для второго гимна, «членского», мы должны были петь «Его Око на воробье». Пианист заиграл, все прихожане поднялись с мест – лишь Кен остался сидеть, держа на коленях псалтирь, – и начали петь: «Зачем я весь в унынье? Зачем приходит тень?» Ранола с минуту внимательно смотрела на Кена, затем лицо ее стало таять и терять форму, как у него, и она подошла к нему и наклонилась, чтобы приподнять эту тряпичную куклу, это пугало. Она держала, обняв и прижав к себе, точно ребенка, и они вместе пели. Это было пронзительно.

Не могу представить, чтобы подобное чудо могло вызвать что-то, кроме музыки. Может быть, потому, что музыка есть нечто физическое: твой главный метр – сердцебиение, главный звук – дыхание. Добавив сюда нежность сердца, можно ощутить то, что ранее было скрыто...

Музыка есть нечто физическое: твой главный метр –

сердцебиение, главный звук – дыхание. Добавив сюда нежность сердца, можно ощутить то, что ранее было скрыто.

Тем временем самолет мало-помалу выровнялся, и пилот объявил, что все в порядке. Я была так взволнована, что мы не разобьемся и я снова увижу Сэма, что проснулась жажда общения; захотелось, чтобы мужчина-христианин стал моим новым другом. Но едва я открыла рот, как пилот вновь включился с вопросом, есть ли на борту врач.

Женщина, сидевшая позади, оказалась медсестрой; она поднялась и пошла узнать, что случилось. Христианин стал молиться; я же тянула шею, но ничего не видела. Поэтому вернулась к мыслям о Кене, моей церкви и о том, как в то воскресенье Ранола и Кен, которого она так боялась, вместе пели. Он был похож на ребенка, который выводил мелодию просто потому, что маленькие дети все время поют, не проводя различия между речью и музыкой. А потом оба, Кен и Ранола, начали плакать. Слезы текли по их лицам, из носов лились реки, но она прижалась своей черной зарезанной физиономией к его лихорадочно белой – и позволила всем наводящим ужас Кеновым жидкостям смешаться со своими.

Когда медсестра вернулась, то сообщила, что у женщины на задних рядах случился сердечный приступ. Сердечный приступ! Но в самолете оказались врачи, и медсестра полагала, что с пассажиркой все будет в порядке.

– Господи боже мой! – проговорил мужчина-христианин. Мы переглянулись, и вздохнули, и покачали головами, и продолжали смотреть друг на друга.

– Господи, – сказала и я. – Надеюсь, следующим номером программы из багажного отсека не полезут змеи.

Чопорный апокалиптический сосед улыбнулся. А потом расхохотался во все горло. Латышка тоже засмеялась, хоть и оставалась в наушниках, начала посмеиваться и я. Мы втроем сидели, задыхаясь от истерического смеха, а затем мужчина потрепал меня по спине, ласково улыбаясь. Латышка наклонилась, проникнув в мое священное воздушное пространство, и расплылась в улыбке. Я тоже подалась вперед, так что наши лбы на миг соприкоснулись. И я подумала: не знаю, действительно ли то, что произошло в церкви, было чудом; не знаю, случилось ли еще одно здесь. Но есть ощущение, что сижу с кузеном и кузиной в самолете, который непременно доберется до дома. Это сделало меня счастливой: «Вот оно, настоящее чудо, в котором можно увериться».

Милый старый друг

Все мы тянемся к любви, точно подсолнухи, но затем включается человеческая ипостась: тело, к примеру, или разум. А еще знание о том, что каждый, кого ты любишь, умрет; многие – тяжелой смертью и слишком молодыми. Моя подруга Марианна как-то сказала, что у Иисуса есть все, что есть у нас, но у Него нет ничего прочего. Это «прочее» и заставляет всю жизнь качать своей подсолнуховой головой.

На прошлой неделе я получила сообщение с просьбой перезвонить тетке Гертруде. Она мне не кровная родственница, ее удочерили, когда мне было два года. Она и ее муж Рекс были лучшими друзьями моих родителей, и наши семьи в конечном счете оказались половинками одного целого. Она стала бабушкой Сэма через месяц после его зачатия, поскольку ни один из ее детей так и не решился завести ребенка.

Я напоминаю ей всякий раз, когда она донимает меня, что испортила себе фигуру, чтобы подарить ей внука.

Мы с ней одного поля ягоды.

Ее кожа по-прежнему красива: нежная, смуглая и розовая одновременно. Похожа на старые перчатки из оленьей кожи. В молодости у нее были шелковистые каштановые волосы, но она позволила им сперва поседеть, а затем стать сияюще-лунно-белыми. Она была длинноногой и отлично смотрелась в шортах и сильно поношенных походных ботинках. Наши семьи ходили в совместные походы: на гору Тамалпаис на мысе Паломарин, в Медвежью долину в Пойнт-Рейес. Она была нетерпелива с детьми, которые отставали на тропе: приносила нам сэндвичи с черным хлебом и шоколад с изюмом, чтобы перекусить у ручьев и речек. (Отец, жалея нас, приносил кока-колу, виноградный лимонад и толстые куски салями.) Тетка была прекрасной портнихой с великолепным стилем и вкусом, но и любительницей дешевки (она сказала бы – бережливой): покупала безупречные, но недорогие аксессуары в крупных универмагах.

За эти годы она нашла массу вещей, особенно когда я готовилась перейти в разряд взрослых и была настолько худа, что никакая готовая одежда из магазина не могла воздать должное моей своеобразной красоте. Смастерила два теннисных платья, когда мне было двенадцать: одно с отделкой из небесно-голубой ленты, другое – с вышитыми кружевными ромашками. И платье на выпускной в восьмом классе, в цвет голубого барвинка; и хипповое платье-рубашку из индийской простыни, купленной на распродаже; еще одно, намного большего размера, когда я

внезапно растолстела, – и многое другое.

Моя мать и Гертруда растили детей вместе, играли в теннис в клубе, боролись за правое дело левого крыла, разделяли любовь к готовке и чтению – и обе были подписаны на «Нейшн» и «Нью-Йоркер», сколько я себя помню. Семьи постоянно ходили в гости друг к другу. Отец и Рекс провели на лодках Рекса не один уик-энд, иногда уходя в дельту на все выходные. Гертруда была служителем, маниакальным и трудолюбивым, моя мать – чокнутой английской эрцгерцогинькой, которой прислуживали все и вся. Гертруда сберегала, мать проматывала; брак Гертруды держался, матери – развалился, когда ей было сорок восемь. Она пустилась в фантастическую новую жизнь на Гавайях, где открыла юридическую фирму. Домой вернулась пятнадцать лет спустя: полным банкротом, с диабетом и ранним Альцгеймером. Гертруда кудахтала и хлопотала над ней – как всегда, пытаюсь починить и исправить.

Дважды поборов рак груди, Гертруда стала тем, кто всегда сдает карты, всегда выходит победителем – но платит непомерную цену за эту честь. Моя мать умирала несколько лет – ужасно. За пару лет до этого муж Гертруды сгорел от рака, двадцать пять лет назад ушел мой отец. Это были люди, с которыми вместе она собиралась стареть. Но тетка держалась.

Наши семьи по-прежнему близки, и я безгранично предана Гертруде. Это не мешает мне грозить ей кулаком на людях или за обеденным столом, когда она ведет себя агрессивно. «Хватит молоть чушь, старуха!» – громыхаю я, а она машет в мою сторону столовыми приборами, точно краб.

Еще два года назад Гертруда продолжала ходить по горам вместе со мной и со своими подругами; при беглом взгляде становилось ясно, насколько она оторвалась от земли. Даже когда ей приходилось опираться на палку, указывая на альпийские дикорастущие цветики – тебе следовало бы уже выучить их названия, – я думала: боже, пусть я буду так выглядеть в восемьдесят! А потом видела ее в санатории после халтурно проведенной операции по замене бедренного сустава – хрупкую, бледную, побежденную – и думала: боже, не дай мне столько прожить на свете. Но она вновь воскресла, вернулась домой – и вновь привела свою жизнь в порядок. По-прежнему живет одна и водит машину; ухаживает за садом, пусть не без помощи – и печет для всех в семье именинные чизкейки.

Теперь она выглядит яблочко-кукольно: маленькая, как ребенок, тонюсенькая, однако по-прежнему стильная и красивая. Все такая же упрямая. Невозможная.

Когда на прошлой неделе позвонила из Орегона ее дочь и

оставила сообщение о том, что Гертруда в депрессии из-за продажи дома, я тут же взялась за телефон.

Я не знала, что она вознамерилась продать свой дом. Когда в последний раз был разговор об этом, она продавала лишь полоску земли за домом, который построил ее муж. В нем она всегда хотела умереть, в этом нисходящем доме, откуда как на ладони был виден простор залива Сан-Франциско, остров Энджел, Алькатрас, весь пролет моста Золотые Ворота, огни Сан-Франциско, парусники, паромы. Мы, было дело, видели оттуда железнодорожное депо, поезда и ту сотню ярдов, которые поднимались от депо к Мейн-стрит, пока все это не снесли.

В последние несколько лет она то и дело заговаривала о том, что однажды, возможно, придется уехать отсюда в какое-нибудь место, где смогут обеспечить уход, но я впервые услышала о том, что она действительно собирается это сделать. Мы поддерживали ее в желании оставить этот дом за собой навсегда, но втайне надеялись, что с ней случится примитивный несчастный случай, прежде чем ей *придется* переехать. К примеру, славная внезапная смерть во сне.

Я позвонила Гертруде и спросила, что происходит. Она была в смятении. В пять часов собиралась ехать в Сан-Рафаэль, подписывать купчие на дом и на клочок земли. Человек, руководивший сделкой, был давним приятелем Рекса по яхтингу, а будущим покупателем стал взрослый сын друзей детства из Германии.

– Я сейчас не могу разговаривать с тобой – и вообще ни с кем, – сказала она.

– По крайней мере, давай я тебя сегодня подвезу, – взмолилась я.

– Нет. Мне нужно сделать это самой. Просто помолись за меня.

И вот это напугало меня до ужаса, поскольку тетка – убежденная атеистка. Ее глубокая духовность абсолютно антирелигиозна, коренится в природе и заботе о людях. Она совершала свои ежедневные обходы много лет – принося еду и утешение больным друзьям. Была вечной и несменяемой главой местного общества ЮНИСЕФ.

И все же я видела аморфный интерес на ее лице во время воскресных молитв, которые произносит один из нас, поминая ее мужа, моего отца или мать. Я знаю, что в эти моменты она чувствует их, всех троих – не так, как воспоминания. Я сказала, что должна поехать на встречу в Беркли, но позвоню из машины на обратном пути, чтобы узнать, не передумала ли она.

Она бывает невозможно раздражающей и неудобной, как

большинство стариков. Уже одно то, что они прожили так долго, убивает надежду на простой уход. Они все равно умрут – так почему же с таким упорством цепляются за жизнь? Я знаю ответ: она дарит им счастье. Все, что теперь есть у нас – этот клочок времени, проведенный вместе. Но старики, которые видят так много и так мало, вцепляются в жизнь со своими упрямыми мнениями и жалобами, и это утомляет.

Они все равно умрут – так почему же с таким упорством цепляются за жизнь? Я знаю ответ: она дарит им счастье.

Единственная причина, по которой мне не хочется нападать на нее, заключается в том, что она – не моя настоящая мать. Но я к тому близка. Каждый год, когда она вместе со мной и Сэмом едет на писательскую конференцию в горах, бывают моменты, когда приходится выходить из коттеджа, чтобы взять себя в руки. Мы проводим радостные часы, читая, готовя еду для Сэма и его друзей, занимаясь после этого уборкой, и я слушаю ее бесконечные комментарии, мнения, сетования и вопросы – и это совершенно меня не напрягает. Когда-нибудь я тоже стану упертой старой дамой со своим мнением по любому вопросу – если доживу. Старость сама по себе раздражающая и странная: все одновременно затвердевает и разжижается. Я чту ее, просто не забывая о потребности в постоянном участии. Но потом она начинает что-нибудь критиковать, и в ее медоточивом властном голосе я слышу урчание дружелюбного фашизма. Это жмет на все мои кнопки – быстро! Я слышу угрозы в ее предположительно невинных соображениях, омерзительный драйв венского вальса – «Ты будешь вальсировать!» – и мерцающее удовольствие: «Я же тебе говорила». И давайте даже не будем начинать разговор о поедании обедков.

Когда-нибудь я тоже стану упертой старой дамой со своим мнением по любому вопросу – если доживу. Старость сама по себе раздражающая и странная: все одновременно затвердевает и разжижается.

Ладно, будем, но коротко. Все ли европейцы, пережившие Вторую мировую, едят обедки? Не просто срезают полудоймовый слой плесени с сыра, чтобы спасти его остаток, – так поступаю и я. Я имею в виду упрямые уверения, что из куска разогретого бейгла, который Сэм вчера оставил на тарелке, получится сегодня превосходный завтрак – для нее. Она не пытается заставить меня его съесть, и все равно это приводит

меня в ярость.

– Гертруда! – говорю я. – Это мусор.

Или я обнаруживаю, что она глодает абсолютно белую арбузную корку, которую нашла на Сэмовой тарелке. Или упаковывает вчерашние равиоли и хочет забрать их с собой, чтобы съесть на ужин, когда я завезу ее домой.

Но по большей части мы находим друг в друге громадное утешение. Вместе читаем газеты – сердито, бормоча. Она читает Ноама Хомского ради удовольствия. И дарит мне великолепный шоколад.

Когда мы в горах, то гуляем каждый день. В последний такой вечер два года назад мы пошли смотреть на звезды у Хай Кэмп, в Скво-Вэлли. Уже находясь на высоте 7500 футов, сели в гондолу и поднялись на лужок, где собрались еще пятьдесят человек – наблюдать метеоритный дождь Персеид. Нами руководили два астронома с мощными телескопами.

Гертруда оказалась там старше всех лет на десять. На ней была шапка, теплая одежда и походные ботинки, в руках – готовая к бою трость. Можно было запрокинуть голову и каждые несколько минут видеть падающую звезду. Тетка держалась за мой локоть, отклонившись назад.

Астрономы начали с легких звезд, созвездий и планет – Кассиопеи и Венеры, почти опустившейся за горизонт; они показывали звездные скопления и рассказывали, сколько в них миллионов галактик, бесконечно больших, чем Млечный Путь, отдаленных от нас на триллионы и мегатриллионы световых лет; все это время над головой сияли падающие звезды и россыпи искр. Гертруда прислонилась ко мне, крепко держась за руку, и прошептала на ухо:

– Не нужно столько информации! Прямо перед нами – лучшее, что есть на свете: старый добрый друг Большой Ковш.

Мы приходили на это место накануне днем, совершая ежегодную прогулку по зарослям диких цветов; небо тогда было таким же ярким, как поле, покрытое долговязыми желтыми соцветиями.

Гертруда не желала стоять в очереди. Может быть, это тоже европейская черта – или она уже настоялась на всю оставшуюся жизнь. Когда я сообщила ей, что в телескоп видны двойные звезды и звездные кладбища, она надменно ответила:

– Я лучше постою там, где я есть, и увижу то, что смогу.

Звезды были близко, как ягоды на кусте.

Однако через некоторое время Гертруда начала дрожать. Ночь выдалась не такая уж и холодная, но тетка такая худенькая! Она пошатывалась, держась за меня, и я стояла, точно перила,

пока восстанавливалось равновесие. Она вцепилась в меня так крепко, что было больно: при свете звезд и окон гондолы было видно, что костяшки ее пальцев побелели. Я стала энергично растирать ее пальцы, как согревают ребенка, только что вышедшего из моря, и мы стали спускаться с горы.

Мне вспомнился тот вечер, когда я позвонила ей из Беркли в половине четвертого того дня, когда она собиралась продать свой дом, и спросила, хочет ли она, чтобы я ее подвезла.

– Да, пожалуйста, – ответила она. Когда час спустя я добралась, она ждала меня снаружи, снова готовая к действию: на этот раз вместо походных ботинок был темно-синий вязанный кардиган с золотыми пуговицами и шарф, подоткнутый вокруг шеи; настоящая морячка, по-прежнему – адмирал своего судна. Она была слезлива, но собрана.

– Когда это ты решила продать дом? – спросила я, когда мы тронулись в путь.

Она сказала, что сама не понимает, как это получилось: она ведь имела в виду продать лишь кусочек земли. Но друзья убедили ее, что имеет смысл продать оба куска собственности одновременно, а потом арендовать этот дом на год. Это дало бы ей время подыскать жилье поменьше, с садом и хорошим видом, и чтобы вокруг были люди, готовые помочь, если она упадет.

– Неужто ты не могла нанять кого-нибудь, чтобы помогал по дому и возил по делам?

Она ответила, что много раз передумывала, причинила всем уже слишком много хлопот: и риелтору, и покупателю, и своим детям.

Все во мне желало спасти ее: предложить свободную комнату или пообещать, что буду заглядывать каждый день. Но вместо этого я совершила нечто невероятное: не сделала ничего. По крайней мере, не стала ничего говорить. Стала просто слушать.

Страх и разочарование изливались из нее, пока мы ехали мимо мест моего детства, мимо горных склонов, на которых когда-то не было ничего, с которых мы скатывались по длинной траве в картонных коробках, мимо маленькой белой церквушки на холме, мимо супермаркета, выстроенного на болотах, по которым мы когда-то плавали на плотках, мимо магазинов, над которыми каждый год сияет рождественская звезда.

А потом, даже не намереваясь этого делать, прямо перед тем, как выехать на забитое машинами шоссе, я свернула с дороги и припарковала машину в автобусной зоне.

– погоди минутку, Гертруда. Дай-ка я кое-что у тебя спрошу. Что ты хочешь делать? Что говорит твое сердце?

Она ответила спустя долгий-долгий миг:

– Я не хочу продавать свой дом.

– Ты уверена? – это была шокирующая новость, и время для нее было подобрано как нельзя некстати.

– Да. Но теперь я должна. Я так часто передумывала!

С минуту никто из нас ничего не говорил.

– Но это наихудшая причина для любого поступка, – наконец проговорила я. Она воззрилась на меня. – Ты имеешь право снова передумать.

– Правда, Энни?

– Ага.

Гертруда глянула по сторонам: растерянная, неверящая, несчастная. Затем осушила слезы, подкрасилась помадой и стала теревить невидимые пылинки на синем вязаном свитере.

Когда мы выехали на улицу, где жил ее старый друг, тетка сказала:

– Ох, Энни! Это будут такие плохие новости для всех, кроме меня.

– Все когда-нибудь бывает в первый раз, – отозвалась я. – Кроме того, сын твоего друга может сам выстроить себе славный домик на том клочке земли.

Когда мы прибыли, все уже ждали. Над Гертрудой закудахтали. То были не мужчины в черных кепи с подкрученными усиками, крадущие у нее дом, – то были ее дорогие друзья. После пары минут светской болтовни она уперлась взглядом в пол. И некоторое время не поднимала глаз. Все притихли, озадаченные.

– Я передумала, – сказала отчетливо, но извиняющимся тоном. – Я не хочу продавать свой дом. Только участок.

Я затаила дыхание. Старость – это танец, фигур которого не знает никто; можно двинуться не в том направлении, которое предвкушали, или вовсе повернуть не туда.

– Гертруда, – заговорили они наперебой, – ты уверена?

Старость – это танец, фигур которого не знает никто; можно двинуться не в том направлении, которое предвкушали, или вовсе повернуть не туда.

Она закивала, сказала: «Да, да» – и схватилась за поручни ходунков так, что костяшки пальцев побелели – как тогда, в ночь метеоритного дождя. Голос дрожал. Я вспомнила, как она дрожала от холода; как астроном указывал на звезды, которые не были одного цвета: оранжевые, красные, бледно-желтые. Венера, настолько близкая и яркая, что мы приняли ее за самолет. В телескоп я видела пушистые ватные шарики в сотнях миллионов миль от нас – космические детские, где рождаются маленькие

звездочки.

Строительство амбара

В обычный сентябрьский вечер пришли в гости друзья смотреть лунное затмение. Их двухлетней дочери Оливии за девять месяцев до этого поставили диагноз «муковисцидоз». Их семилетняя дочь Элла – старинная подруга Сэма: они познакомились в ясельной группе и с тех пор играют вместе, так что я воспринимаю ее как невесту сына. Теперь эта семья погрузилась в некий альтернативный мир – мир, где каждый ребенок болен опасной для жизни болезнью. Знаю: иногда этим людям кажется, что они изгнаны из нормального мира, в котором жили прежде. Они должны научиться жить с тем фактом, что у младшей дочери – неизлечимая болезнь. Двухнедельное пребывание в больнице, непрерывный курс тяжелых антибиотиков... Взрослыми такие дети становятся редко.

Дважды в день по сорок пять минут родители должны постукивать дочь между лопаток – чтобы ее легкие освободились от слизи. Меня изумляет, что ее мать Сара – сорокалетняя миниатюрная женщина, вполне состоявшаяся, – ухитряется и стильно одеваться, и оставаться сильной.

В ночь лунного затмения наши соседи периодически выходили из дома, чтобы проверить состояние луны. Мы же с Сарой оставались снаружи и наблюдали постоянно. Это было так таинственно: тень земли, накрывающая луну, красно-черно-серебряная, точно вуаль, и спадающая, словно приливная волна.

Элла зовет свою маленькую сестричку Ливией; она оставалась у нас в тот день, когда Оливия родилась, и мы с ней жарили блинчики в форме буквы «О», чтобы отпраздновать день рождения малышки. С самого начала Оливия была слабее других младенцев: подхватывала простуду, которая никак не желала проходить и привела к появлению постоянного тяжелого кашля. Но врач так и не нашел ничего серьезного; казалось, антибиотики, справлялись с симптомами. Теперь мы тусим в ее комнате и едим шоколад, и я рассказываю ей, что очень и очень не скоро, когда мы обе отправимся на небеса, нам следует постараться занять места рядом друг с другом – и поближе к десертному столу.

– Да! – соглашается она. У нее круглые карие глаза и короткие светлые волосы. – Еще шоколада! – кричит она и кидает мне мяч, который держит в руках. Говорю вам, девочка просекла фишку! Я научила ее любить шоколад, и ее родители до сих пор на меня злятся.

Всякий раз, уезжая из города, я опасаясь, что по возвращении

услышу дурные вести: Оливия снова в больнице под капельницей с антибиотиками. У нее есть игрушечный голубой телефон, с которого она часто звонит понарошку. Иногда я воображаю, как мы болтаем по этому телефону. В этом году в конце лета я на неделю уезжала преподавать – и не переставала думать о девочке. Едва не позвонила в Калифорнию, чтобы услышать ее голос. Я слишком помногу работала и слишком поздно ложилась; люди, с которыми общалась, слишком много пили. Я начинала чувствовать себя, как усталый взвинченный ребенок на вечеринке, который переел сладкого, перегрузился во всех отношениях, но ему упорно завязывают глаза и заставляют сыграть в «приколи ослику хвост». Но я была настолько ошеломлена и подавлена, что не могла понять, где стена с осликом.

Так и не позвонила Оливии, но не выпускала ее из молитв. Говорила богу: «Слушай, я уверена, ты знаешь, что делаешь, – но мое терпение начинает истощаться...»

За несколько дней до затмения я вернулась домой уже после того, как Сэм лег спать. Легла рядом и стала наблюдать за сыном. В небе висела обычная луна; я рассматривала Сэма в ее свете – и чувствовала, что мне указано верное направление. Отец Оливии, Адам, оставил на автоответчике сообщение: пока я была в отъезде, Оливия сильно заболела. Они сумели не довести дело до больницы, но ситуация все время была на грани. Глядя, как Сэм спит, не переставала гадать, как найти «стену с осликом», когда твой ребенок неизлечимо болен? Не знаю. Я подняла глаза к Богу и, вспоминая об Оливии и ужасных шрамах на ее легких, спросила: «О чем, скажи ради бога, ты думаешь?»

Затмение пришло в такой особенный момент. Может быть, дело в том, что я привыкла к кратким и хлестким цитатам, мгновенным дедлайнам, электронным письмам. Но тень земли надвигалась на луну в ином, небесном времени: медленно, мимолетно, в один астрономический момент. Казалось, луну что-то съедает: в последние мгновения ее жизнь проплывает перед нами.

В день Нового года, перед тем как Оливии поставили страшный диагноз, я ездила на Стинсон-Бич с Сэмом и ее семьей. У них огромная немецкая овчарка, которая неразлучна с ними: пес не отходит от Оливии ни на шаг, опекая девочку. Он был с нами в тот день – в один из прекрасных северокалифорнийских дней, когда дети и собаки носятся по пляжу, над головой летают пеликаны, и горы и зеленые хребты вздымаются за спиной, и все такое золотое и прекрасное. Казалось, с Оливией все в порядке: счастливая, веселая, неутомимая. Несколько дней назад родители возили ее к врачу на анализы в связи с острой простудой. Но в

Новый год простуды не было.

Через два дня позвонил Адам с известием о том, что у нее муковисцидоз. Теперь, увидевшись с Оливией в ночь затмения, видя ее обращенный вверх взгляд, полный любопытства, я подумала, что трудно припомнить, когда она не была больна. Еще труднее поверить, что она больна.

Оливия смеется моим шуткам. В ночь затмения я то и дело указывала на собаку Сэйди и серьезно спрашивала: «Правда, это самая уродливая кошка на свете?» И Оливия заливисто хохотала.

Узнав ее диагноз, мы были настолько ошеломлены, что не могли плакать. У семьи было много добрых друзей, и каждый хотел помочь, но поначалу люди не знали, что делать: их парализовало горе.

Однако к середине января мне явилось видение этой катастрофы в виде гигантского холста, на котором возникает картина изысканной красоты. Всем хотелось встать бок о бок и приподнять эту ношу, чтобы родителям Оливии не приходилось тащить в одиночку. Но я видела, что в действительности им приходится волочить всю картину на себе. Потом образ холста сменился амбарной стеной: я увидела, что любящие люди могут вывести вокруг этой семьи некий чудесный амбар.

Так и сделали. Собрали немало денег – катастрофы обходятся недешево. Мы заглядывали к родителям Оливии и постоянно звонили. Убирали дом, выслушивали жалобы, заботились об их детях; мы выгуливали собаку, плакали, а потом смешили их; приезжали снова, и слушали, и позволяли им плакать – а потом забирали на прогулку. Водили Эллу и Оливию в парк. А Сару – в кино. Однажды я пригласила Адама в ресторан на ужин. Он был в полном раздрае. Когда к нам в первый раз подошел официант, несчастный отец рыдал, когда тот подошел снова – истерически смеялся.

– Он слегка непредсказуем, правда? – сказала я официанту, улыбаясь. Тот серьезно кивнул.

Мы продолжали готовить для них, и выгуливать собаку, и водить детей в парк, и убирать кухню, и позволять Адаму и Саре ненавидеть происходящее, когда было нужно. Иногда вместе с ними сопротивлялись поиску какого бы то ни было смысла во всем, что касалось диагноза их дочери, и это, пожалуй, было труднее всего: перестать делать вид, что все лучше, чем есть на самом деле. Мы позволяли Адаму и Саре плевать; вручали дар неутешения, когда они погружались в безутешность. А еще мы закупали продукты. Одна подруга каждую неделю дарила им массаж; все мы постоянно давали деньги. И так, постепенно, выстроили свой амбар. Во многих отношениях ситуация в этой

семье бывала просто ужасной, но... случилось чудо. Не то чудо, кое является на параде в честь Дня Благодарения, и не то, которого им бы хотелось, – когда Бог протягивает руку, касается их девочки волшебной палочкой и возвращает ей здоровье. Может быть, это еще случится – кто знает? Не берусь утверждать, что это не в Его силах... Однако чудо случилось – и они это понимают.

В ночь затмения Сара была в удивительном настроении. Однако уже нависла осенняя вирусная туча, а это означало, что семья станет еще более беззащитной перед простудами, микробами, гриппозными бактериями – и многочисленными друзьями. Предстояла постоянная бдительность: меньше гостей, бесконечное мытье рук, лишние просьбы помолиться. В районе Залива и, в сущности, по всей стране есть ряд церквей, где прихожане молятся за Оливию каждую неделю. Возможно, это помогает. И все же призрак холодов нависал в ту ночь над родителями Оливии, как таинственная луна-оборотень. Сэм и Элла стояли в сторонке, сами по себе, как подростки, Оливия же не отходила от нас с Сарой. Все мы долго-долго смотрели в небо, так же как миллионы и миллионы людей повсюду, так что возникало чувство единения под этими странными лучами. Яркость светового обода боролась со своей собственной тьмой. Оливия то и дело в изумлении хлопала ладошками по щекам, словно желая воскликнуть: «Карамба!» или «Ой!» Когда луна снова стала яркой и золотой, она взбежала по лестнице, к сестре и Сэму, которые замерзли и ушли играть в дом.

Сара совершенно спокойно смотрела, как уходят ее дочери, но я видела, что дети для нее – та самая «стена с осликом». Мы немного постояли на улице, разговаривая об этой последней вспышке болезни, о том, как Сара была напугана и как устала. Поначалу я не знала, что сказать. За исключением того, что мы, их друзья, знаем: придут ветра и дожди, и они будут холодными – боже, какими они будут холодными! Но нелегкими совместными усилиями мы возвели этот амбар – надежное укрытие от бед.

Падать лучше

В прошлом году, через пару дней после Пасхи, меня позвали в Парк-Сити, штат Юта, читать лекции; в обмен я получила неделю бесплатного катания на горных лыжах. Сэм пригласил с нами своего друга Тони, а я – подругу Сью Шулер. Она – отличная спутница: молодая, но мудрая, одновременно дерзкая и мягкая, истощенная, но в то же время – полная жизни. И умирающая от рака.

Она сказала «да». Она всегда любила горные лыжи, на склонах была грациозной и отчаянной. Я начала кататься всего шесть лет назад, и у меня по-прежнему проблемы с равновесием и управлением. Падаю, порой не могу подняться, но мне нравится то, что происходит между падениями, унижением и малодушным отчаянием. Словом, все – как в реальной жизни.

Я начала кататься всего шесть лет назад, и у меня по-прежнему проблемы с равновесием и управлением. Падаю, порой не могу подняться, но мне нравится то, что происходит между падениями, унижением и малодушным отчаянием.

Никто из ее семьи, включая саму Сью, не был уверен, что она сможет кататься, – и не знал, хватит ли у нее сил выдержать саму поездку. Никто, кроме меня. Никто не мог знать, что она умрет через месяц после моего приглашения. В любом случае я решила, что если она увидит горы Уосатч, ей захочется как минимум попробовать. Я пригласила ее потому, что боялась больше никогда ее не увидеть, – и потому что, когда я позвонила, она пребывала в смятении. Она должна была поучаствовать еще в одном великолепном Празднике, прежде чем умереть. Это многое могло исправить. Пасха – такое значительное время. В раннем христианстве Рождество стояло на втором плане, пару столетий рождение вообще не праздновали. Но никто не мог не заметить воскресения: Руми говорил, что весна «всесильна, как Иисус Христос», «растенья возрождает из руин». Пасха – это о том, что любовь сильнее смерти и больше тьмы.

Сью сказала – да, мы встретимся в Парк-Сити.

Я знала ее только по телефонным разговорам благодаря ее сестре, моей старой подруге. Барб была своего рода сводней, которая признала во мне и Сью родственные души – верующие, но любящие посмеяться. Мы познакомились, когда я за руку вела подругу Пэмми через последний год ее жизни. И можете называть

меня сумасшедшей, но я не возгорелась в тот же миг желанием свести дружбу еще с одной умирающей блондинкой. Однако чуяла в этом руку божью или, по крайней мере, божьи пальцы.

Был март 2001 года. Дикие цветы еще не расцвели; почки не раскрылись. За месяц до того, как Сью впервые позвонила, ей сказали, что развились опухоли в печени и легких. Некоторое время она была в глубокой депрессии, но причина, по которой она, наконец, вняла совету Барб и позвонила мне, заключалась в том, что многие люди в церкви твердили ей, что она должна чувствовать себя счастливой, потому что возвращается домой, к Иисусу. Именно из-за таких вещей христиане пользуются дурной славой. Сью хотелось их расстрелять. Думаю, я поддерживала в ней это желание.

А еще некоторые евангелические друзья печально вещали, что ее племянницы на небеса не попадут, поскольку они еврейки, как и одна из ее сестер. А я сказала: нет ни одного шанса из миллиона, что ее племянницы не попадут на небеса; если не им, кому тогда можно туда попасть? И пообещала, что в случае, если возникнут проблемы, мы вместе откажемся туда идти. Как-нибудь организуемся.

– Да и вообще, что это будут за дерьмовые небеса в таком случае? – сказала она по телефону.

Это было начало нашей дружбы – густого концентрированного бульона из теплых чувств, любви и верности, потому что времени терять было нельзя. Когда мы встретились, я не поверила глазам: такая она была красивая; не ожидала, что вся эта приземленная непочтительность слетает с уст такой красотики! Вскоре Сью начала приходить в мою церковь, и каждую неделю мы разговаривали по телефону. Я могла предложить свой единственный навык: слушать. Не пытаюсь убедить, что она осилит еще одно наступление на метастазы, просто слышала ее страхи – и чувствовала силу ее духа.

В день наступления нового 2002 года Сью позвонила в слезах, со словами, что она знает, что умирает.

Я долго-долго слушала ее; постепенно она перешла от сокрушенности к вызову.

– У меня есть то, что захотел бы иметь каждый, – сказала она. – Но никто не захотел бы за это заплатить.

– Что у тебя есть?

– Две самые важные вещи. Меня заставили полюбить себя. И я больше не боюсь умереть.

Ей становилось все хуже и хуже. Это было так несправедливо – я хотела подать заявление в Комитет по Справедливости и по-прежнему желаю задать вопрос богу, когда мы, наконец,

встретимся. Человек – такой чудесный, умный и феерический – должен умереть, а чудовищные люди, которых не хочется и называть, будут жить веки вечные! От этого разрывалось сердце. В то же время у нее было столько радостей! Она любила свою семью, своих друзей – и поест. Ела как лошадь. Я в жизни не видывала женщины, которая могла бы так набивать живот, как Сью. Тело ее было тощим, как палка, кожа на одной ноге напоминала шкуру рептилии с двадцатью двумя лоскутами пересаженной кожи, которые понадобились после того, как она подхватила разъедающую плоть болезнь в течение одной из бесчисленных операций.

Вот же свинство!

Вся эта история с раздачей тел ужасно запутывает; еще одна тема, которую мне хотелось бы поднять в разговоре с богом. Тела – сплошной беспорядок и разочарование. Всякий раз, как я вижу на чьем-нибудь бампере наклейку со словами «Мы думаем, что мы – люди, переживающие духовный опыт, но на самом деле мы – духи, переживающие человеческий опыт», (а) я думаю, что это так и есть, (б) мне хочется протаранить эту машину.

Мы со Сью встретились один – последний – раз в четверг после Пасхи 2002 года, в Парк-Сити, чтобы отпраздновать в частном порядке, на неделю позже. У нас в коттедже была одна королевских размеров постель на двоих. Сэм и его приятель Тони заняли вторую комнату, за какой-нибудь час превратив ее в Помпеи. Потом, закончив свои труды, они вытрясли из нас деньги на суши и отправились вести дикую жизнь на улицах Парк-Сити.

Главное в Пасхе то, что Иисус возвращается из мертвых – одновременно воскресший и израненный, с заметными местами от гвоздей. Людям необходимо понять, что это действительно случилось: Он вернулся в теле – а не как Каспер или смутная идея о возвращении духа. Это было израненное тело. Он жил, Он умер – и вот ты уже можешь Его коснуться. И Он мог есть. Эти четыре вещи реальны и телесны, как сама жизнь.

Первое, что сделали мы со Сью, – нашли прекрасный местный онлайн-сервис «Пасхальная неделя» и следовали его рекомендациям дословно. В первый вечер отмечали Чистый четверг, в память Пасхи Иисуса с учениками, когда перед арестом Он дал им причастие. В память о Нем мы пили кока-колу вместо вина и ели крекеры «рыбки» вместо хлеба.

Потом мы омыли друг другу ноги. Иисус омывал ноги своим ученикам, чтобы показать, что могущество в этом мире – ничто, главное – любовь и благородство, служение. Омывать ноги Сью было невероятно страшно. Поначалу я вовсе не чувствовала себя Иисусом. Ужасно нервничала. На самом деле мне не нравится

мыть даже собственные ноги. Но мы влили немного мыла в пластиковый тазик, и она села на диван, и я приподняла ее стопы и опустила их в теплую воду, а потом стала мягко мыть намыленной мочалкой. Затем она омыла ноги мне.

Потом мы омыли друг другу ноги. Иисус омывал ноги своим ученикам, чтобы показать, что могущество в этом мире – ничто, главное – любовь и благородство, служение.

Я смотрела на нее, спящую рядом со мной, всю ночь. Иногда она становилась настолько неподвижной, что я была уверена, что она мертва. Но потом она громко всхрапывала или открывала глаза и смотрела на меня. «Привет, Энни», – говорила тихим голосом.

Утром после завтрака мы вчетвером сели на подъемник и направились к вершине. Мальчишки тут же скрылись. На Сью была лавандовая лыжная куртка: 55 килограммов веса на 175 сантиметрах костей, она пошатывалась и дрожала. Люди оборачивались поглазеть на нее, потому что она была желтая и истощенная. Она улыбалась; ей улыбались в ответ. У нее были отличные зубы.

– О да, я была фигуристая, – говорила она, пока мы искали точку опоры в снегу. – Когда-то у меня был пышный бюст.

Мы вместе стояли на вершине, глядя на горный хребет и беспредельное голубое небо, а потом я внезапно опрокинулась. Она помогла мне подняться, мы расхохотались – направились вниз с горы.

Она уже много лет не была на спусках и поначалу двигалась осторожно; воздух был разрежен, а у нее был рак легких. Потом она сильно оттолкнулась палками и съехала вниз по горе. В какой-то момент развернулась и стала ждать меня, а я, как только это увидела, притормозила и полетела вверх тормашками. Лежу, распростертая в снегу, с лыжами, сложившимися углом над головой, как Грегор Замза в «Превращении». Она дождалась, пока я встала и доехала до нее, а потом сказала самую важную вещь из всего, что я слышала: «Ты так боишься упасть, что это не дает тебе кататься в полную силу. Не дает получать удовольствие». Так что каждый раз, упав, я с минуту лежала на месте, убежденная, что сломала бедро, а потом она показывала мне, как встать на ноги. Всякий раз я счищала снег с задницы, смотрела на нее и упрямо направлялась вниз. И лишь после того, как Сью убедилась, что я научилась падать, она оторвалась и покатила вниз по склону.

В тот вечер мы праздновали Страстную пятницу. Это такой

печальный день: утрата и жестокость; приходится полагаться на веру, что свет сияет во тьме, и ничто – ни смерть, ни болезнь, ни даже правительство – его не одолеют. Меня приводит в бешенство, что постулаты моей веры невозможно доказать. Будь я богом, вписала бы ответы в конец учебника, чтобы можно было по ходу заглядывать и проверять, на верном ли ты пути. Но *не-е-е-ет*, Тьма – наш контекст и контекст Пасхи; без нее света не увидишь. Надежда – это когда веришь в то, что любовь больше любого мрачного беспросветного дерьма.

После службы в честь Страстной пятницы Сью захотелось показать мне свои ноги, результаты пересадок кожи. Ее кожа явилась своего рода шоком – израненная и чуждая, точно змеиная шкура.

– Ого! – сказала я. Она позволила мне некоторое время поизучать ее ноги. – А у меня проблемы с целлюлитом, – виновато добавила я.

– Да, – отозвалась она, – но так теперь я выгляжу живая.

Она стоически сражалась за свое тело все это время, но при этом относилась к нему нежно и по-матерински. По вечерам принимала длинные горячие ванны, а потом смягчала кожу лосьонами.

Спали мы хорошо. На следующий день праздновали Великую субботу, канун Пасхи, когда Иисус мертв и скрыт в гробнице, и все бессмысленно, и никто не знает, что Он снова оживет. Его ученики ушли с Голгофы раньше, чем Он умер, – у креста остались лишь несколько женщин. Так вот, апостолы, точно собаки, прокрались в Верхнюю горницу, чтобы ждать, предаваться депрессии и напиваться – по крайней мере, так мне это представляется. Я бы на их месте определенно так и поступила и думала: «Какие же мы лузеры!»

Еще чего хотелось Сью – это получить массаж, снова ощутить чувственное прикосновение, так что мы решили в Страстную субботу пойти на массаж.

Ей достался великолепный массажист-индеец. Он был похож на Сиддхартху. Мне – нервная белая немка. Сью и индеец ушли вместе, и она бросила через плечо взгляд, в котором читалось такое удовольствие, словно они отправлялись в свадебное путешествие.

Моя массажистка выглядела так, будто ей не терпится меня нашлепать.

Когда мы со Сью снова увиделись через час, она благоухала ароматным лимонным маслом. Я спросила:

– Ну, ты хоть капельку стеснялась?

– Не-а! – ответила она. – Даже после того, как устроила ему

экскурсию по Телу.

В воскресенье, в день отъезда, Сью поднялась рано. Солнце лилось сквозь окна, небо было ярко-голубым. Она больше не выглядела, как после желтухи. Чуть подзагорелая, розовая. На завтрак приготовила свои фирменные булочки с курагой. Я поначалу пыталась ее отговорить, потому что мне не хотелось ранить ее чувства, если мальчишки начнут воротить носы.

– Мальчики не будут есть булочки с абрикосами, – настаивала я. – Они едят хлопья, чушь всякую!

– О, уж мои-то булочки мальчики непременно съедят, – хитро возразила она. И оказалась права. Они съели все, кроме четырех, которые она упаковала, чтобы взять с собой в самолет. Две из них доехали до аэропорта в Солт-Лейк-Сити. Они были маленькие, бледно-желтые, с веснушками оранжевой кураги – и исчезли к тому времени, как мы добрались домой.

Хорошая новость: мы обречены, поэтому можно отказаться от всякого контроля. Сопротивление бесполезно: все ухудшится и ослабнет, особенно демократия и мышцы предплечья. Однако самые разрушительные изменения обрушатся на твою семью – с той, в которой ты выросла, и с нынешней. Лучшие люди умрут – притом скверной смертью, в то время как худшие будут процветать. Младший пласт «среднего возраста» борется с теми же финансовыми, вещественными и семейными кризисами, с которыми сражались их родители; другие, в том числе – я, даже не относятся к этому возрасту. Мы в начале старости: с разрушающими воспоминаниями, потерей слуха и болезнями десен. И хотя я терпеть не могу казаться пессимисткой, есть и новые люди – крохотные, беззащитные, – которые также обречены на ментальное разрушение своих стремлений.

Хорошая новость: мы обречены, поэтому можно отказаться от всякого контроля. Сопротивление бесполезно: все ухудшится и ослабнет, особенно демократия и мышцы предплечья.

То, чем живет большинство из нас, это любовь к семье: кровной, где был причинен вред, и избранной, в которой горстка по-настоящему чокнутых людей сообща борется с этим миром. Но оба типа семей могут быть как твердыми, так и пустыми, как мистическими, так и прозаичными, как мертвыми, так и живыми. Но только все искупающая семейная любовь – наряду с природой и чистыми простынями – может спасти от всеобщего горнила.

То, чем живет большинство из нас, это любовь к семье: кровной, где был причинен вред, и избранной, в которой горстка по-настоящему чокнутых людей сообща борется с этим миром.

Мою замечательную подругу, которая на этой неделе стала бабушкой, уже мучают родители малыша и родители мамы малыша, а младенцу – всего *пять дней от роду*. Подруга написала, что пытается найти в себе сострадание и фокусироваться на масштабной картине. Я ответила, что это помогает лишь отчасти. По-настоящему помогает лишь радикальная забота о себе – и месть.

Ладно, насчет мести я шутила.

Мне хочется сказать, что практиковать терпение – не самая плохая идея. Иначе погубишь себя: страстными обвинениями, праведным негодованием, оскорбленным молчанием и шантажом, как делали некогда милые мама и папа. И к чему это привело? Папу вытаскивали из его любимой эксцентричности, затем как могли приводили в порядок маму – и наконец доходила очередь до детей.

В последний раз шанс выбирать между прежними и новыми подходами представился месяц назад, когда у всех членов семьи – у каждого в своей области – началась полоса бед, которые просто не могли стрястись все одновременно – однако стряслись. Юридические, психологические, проблемы с опекой, с браком, со здоровьем. Так что мы собрались вокруг обеденного стола у меня дома, где были выставлены курица и помидоры, сыр, бурый рис и брюссельская капуста с лимоном и соевым соусом – наряду со всем тем, что каждый притащил на этот пир втайне.

За ужином мы бросались в наши проблемы всеми возможными снарядами: интеллектом, остроумием, сострадательным слушанием, а также бессознательными стараниями повысить расход энергии. Состоялся яркий разговор, с приступами юмора – все звенело, как наэлектризованные. И там сидела я, милая мудрая Энни – мишень для приступов сарказма; я отбивала подачи, чувствуя себя все более уязвимой и откровенно желая, чтобы все ушли.

В тот вечер, после того как все разъехались, я вымыла кухню – любимая составляющая любого званого ужина. И потом, когда шла к спальне мимо гор игрушек и рисовальных принадлежностей внука и племянницы, я услышала пронзительный искаженный голос. Он четко проговорил: «Энни!» Я замерла и огляделась. Очевидно, пригрезилось. Я больше ничего не услышала и отнесла это на счет мозгового глюка. Но когда подошла к двери спальни, он позвал снова: «Энни!» Я пошла обратно, чтобы разобраться. Это было ужасно странно, не имело никакого возможного объяснения – если это не собаки издевались надо мной. Или, что вероятнее, кошка. Не увидев ничего, что могло бы хоть как-то это объяснить, отправилась спать.

Спустя несколько вечеров это повторилось снова – и я задумалась, не теряю ли разум. И, должна сказать, задумалась не впервые в жизни.

От этого бросало в дрожь, заставляло чувствовать себя отчаянно одинокой. Как и у всех, у меня был гигантский запас пожизненных страхов и сомнений в себе, которые только и ждали, чтобы предъявить на меня права. Я довольно успешно старалась

их сдерживать, но теперь они казались мне течью в судне. Подруга как-то назвала ощущение тотального одиночества «долиной отчаяния»: зловещей бесплодной пустошью без воды и тени. Там негде обрести утешения, там ты эмоционально обнажена – и практически лишена разума.

Подруга как-то назвала ощущение тотального одиночества «долиной отчаяния»: зловещей бесплодной пустошью без воды и тени. Там негде обрести утешения, там ты эмоционально обнажена – и практически лишена разума.

Когда я услышала голос в третий раз, подумала: «Оно пришло за мной». «Оно» было жутким внутренним голосом, который стал чернопесым голосом бессонницы и похмелий. Все призраки, которые я воображала и подавляла пятьдесят лет, пришли за мной. Я слышала этот голос – громкий, вкрадчивый – в своей гостиной: «Энни!»

Он был полным мольбы и отчаяния и дразнящим – мотивчик, который вцепляется в ухо: ты пытаешься страхнуть его, но он не отпускает. Такая навязчивая мелодийка сопровождала меня со времен детства, вертелась рядом во время любых занятий, не отпускала в развлечениях, успехе, одержимости, в интересных разговорах и в бизнесе.

Это был голос, знавший о том, что жизнь моих родителей была безумной, что сделало безумной меня саму – и когда-нибудь доберется до малышей. Пронзительный тоненький голосок когда-то говорил: «Тик-так, тик-так», но теперь он твердит: «Мы же тебе говорили! Сумасшедшая, чо-о-окутая».

Я делала все необходимое: дополнительно удлинила прогулки с собаками, сосредоточивалась на работе, была особенно предупредительна с собой. Но несколько вечеров спустя услышала голос вновь.

Я оглядела область, откуда он доносился. Там стояла коробка с игрушками внука – я тщательно перебрала их, встряхивая, чтобы услышать свое имя.

Ни одна из игрушек его не произнесла. Хороший знак.

Затем перетряхнула коробку с детской игрушечной косметикой племянницы. Может быть, губная помада с голубыми блестками?..

Над коробкой с игрушками были книжные полки. Может, одна из книг произносит мое имя? Проверила и эту догадку – нет. Превосходно! Пыталась голос игнорировать: очень не хотелось звонить психиатру или в службу спасения. Я продолжала отмахиваться от него, говоря себе, что этому найдется объяснение

– смехотворное, еще хуже, чем книги, игрушки или косметические принадлежности, которым вздумалось произносить мое имя. Однако как ни странно, рассказывая друзьям обо всем, об этой пикантной ситуации я не обмолвилась ни словом.

Каждый вечер торопливо устремлялась в спальню. Перспектива услышать голос была как наживленный крючок, болтающийся рядом; если бы я клюнула, он непременно втянул бы меня в свое гигантское китовье «я», проглотил бы целиком. Мой бедный старый разум! Он столько преодолел, был под таким экстремальным давлением с того самого дня, как я родилась: одолеваемый сомнениями, родителями, противными детьми, скверной кожей, утратами в реальной жизни. И вот я выкарабкалась и чувствую себя довольной и великодушной – и вдруг потом эта тварь выбирается из кокосовой скорлупы. «Энннни. Эннннни».

Это было как слуховая сыпь; сверчок Джими из сказки про Пиноккио.

Пару раз, когда он звал, я целенаправленно шла к своей комнате, потом карикатурно бежала на цыпочках обратно в гостиную, чтобы перехитрить и «поймать» его. Но в такие вечера он со мной не говорил.

Он сверлил мозг, как дрель, – унижающий, высмеивающий. Я зарывала его поглубже или заглушала, но случались неоднократные моменты пристыженного одиночества: на публике или с возлюбленным, на семейных сборищах или наедине с собой.

Однажды вечером, после того как на цыпочках пробиралась в гостиную, я лежала в кровати с берушами и думала, не может ли это быть чем-то вроде пукательных машинок с дистанционным управлением, которые люди считают такими забавными: пожилая женщина сидит во главе стола в ресторане, празднуя свой день рождения, и тут вечный шут, отчаянный средний ребенок, жмет на кнопку – и взрывается громкая автоматная очередь...

Но я искала и не могла найти никаких машинок.

Молитва помогала (она всегда помогает); у меня были приятные творческие духовные дни: мамины, бабушкины, тетушкины и сестрины – во многих отношениях лучшие в моей жизни; но потом несколько вечеров подряд голос появлялся вновь. Точно имя мое выкликала сова, роль которой играла Бетт Дэйвис. Вспоминались фильмы Романа Полански. Этот голос мог с равным успехом говорить: «Никчемная, никчемная, никчемная» или «Ну и дурацкая жизнь у тебя была!» Я не слышала его в те дни, когда семейные войны пылали ярче всего. Он бессистемно

набрасывался с пылкими речами и смеялся надо мной за попытки привести мир в порядок путем корпения над гроссбухами, obsессиями и достижениями, в то время как у всех остальных, безусловно, была жизнь, полная удовольствий.

Я слышала его только поздними вечерами: тихо, но отчетливо.

Когда я дошла до точки, готовая поверить, что действительно лишилась разума, вмешался другой внутренний голос, взрослый и мягкий. Он говорил: «Что ж... кто знает. Может быть, и нет...»

Это было чудесно, изумительно! Я вводила в игру родителя, последовательного присутствия которого была лишена в детстве, который уверял, что мы с этим разберемся – вместе. Эта личность верила в то, что я рассказывала, считала, что моим представлениям можно доверять – или, по крайней мере, они заслуживают обсуждения.

И однажды вечером это иное присутствие предложило: поскольку сей демон с его отвратительным чириканьем объявляется, когда я иду спать, мы останемся вместе, пока не выясним, что же он такое.

Мы усадились на полу с включенным светом: собаки рядом, кошечка – растянувшись на диване. Я слышала безмолвие идеальной жизни, прекрасного творческого дома: с внуком, с животными, с любимыми друзьями и книгами. Конечно, в жизни имели место и всяческие нервные события, которые никак не могли быть проявлением божьей воли, особенно – для младших членов семьи. Как может Бог рассчитывать, что мы будем принимать Его волю, когда она бывает столь ужасной? Зачем, скажите на милость, молиться об исполнении Его воли, когда считаешь, что этот план никуда не годится?

Как может Бог рассчитывать, что мы будем принимать Его волю, когда она бывает столь ужасной? Зачем, скажите на милость, молиться об исполнении Его воли, когда считаешь, что этот план никуда не годится?

И в тот же миг я услышала тоненький, пронзительный голосок: «Энни, Энни!» На заднице подползла к игрушечной коробке и книжным полкам и уселась в молчании. Прислушивалась, точно разведгруппа, высланная вперед себя самой. Наконец услышала его снова. Определила, что исходит он не из коробки с игрушками, а с книжных полок. И вздохнула с облегчением.

Я прокралась к книгам, которые стояли в том же месте с тех пор, как я переехала в этот дом. Села и стала смотреть на них, практикуя терпение, пока глаза не зацепились за резную

деревянную головоломку, привезенную мною год назад из Франкфуртского аэропорта.

Головоломка состояла из пяти ярко раскрашенных обитателей джунглей, вырезанных из дощечки размером 22 × 35 см, с крохотной батареей, вмонтированной в заднюю ее часть, которая озвучивала этих животных: восходящий трубный стон слона, странное «крик-крик» крокодила, обезьянье «ии-ии-ии», неразборчивый львиный рев и «коо-коо» попугая. И когда я приподняла попугая и затем снова поставила на место, то услышала: «Эннннни, Эннннни».

Я запрокинула голову, хохоча – ох уж эти гребаные немцы! – и хохотала, пока кошка не смылась в кухню. Я последовала за ней, чтобы взять сменную батарею. Вот и толкуйте о тотальном переписывании вселенной! Как и многие, я сконструировала жизнь так, чтобы держать эту навязчивую мелодийку в узде, просто включая отвлекающие шумы: телевизор, компьютер, радио, машину, кофеварку, плеер. И голоса, и шумы, и чувства, и воспоминания сгущались во мне и сливались в один тихий крик; это было мое собственное имя. Я – Энни: прекрасная, разрушенная, трогательная, мрачная, любящая – и в какой-то мере сумасшедшая. Я вставила новую батарею в клеммы головоломки, разместила в ней всех животных, а потом стала приподнимать их, одного за другим: слон стонал, обезьяна визжала, крокодил трещал, лев ревел, а попугай говорил: «Коо-коо». Я похлопала себя по плечу, тихо рассмеялась и положила игрушку на самую нижнюю полку. А потом принялась за самое надежное, утешительное и праздничное духовное действие из всех, что знаю: постелила на кровать чистые простыни и разгладила ладонями их хрусткую свежесть – мягкую, точно прохладная кожа.

Окорок божий

В свой сорок девятый день рождения, в апреле 2003 года, я решила, что жизнь – бессмыслица и стоит, пожалуй, обожраться до смерти. За три недели до этого Джордж Буш развязал войну с Ираком – «Бурю в пустыне». Однако после второй чашки кофе дошло, что я не могу убить себя в это утро – не потому, что день рождения, а потому, что обещала на следующий день пойти под арест. Три недели назад меня загребли вместе с экуменической горсткой религиозных пацифистов, которые до сих пор верят в Кинга и Ганди. А еще у меня взбунтовалась спина. Я не хотела помирать, как старая развалина. К тому же в доме не было ни крошки еды. Так что вместо обжорства я приняла горячий душ – и начала еще один день тайного злорадствования.

Обычно мне удается сохранять надежду на то, что в хаосе и боли есть смысл, а истина и красота в конечном счете победят. Но это становилось все труднее по мере приближения моего дня рождения.

Все, кого я знаю, были удручены президентством Буша, в особенности – героической военной деятельностью нашей страны за океаном. Обычно мне удается сохранять надежду на то, что в хаосе и боли есть смысл, а истина и красота в конечном счете победят. Но это становилось все труднее по мере приближения моего дня рождения. Буш украл у нас так много с самого начала правления, но в особенности – с тех пор, как начал воевать с Ираком! В иные утра я просыпалась, припиленная к кровати печалью и разочарованием. Одна подруга позвонила поздравить меня с днем рождения, и я припомнила слова, сказанные ею много лет назад, когда мы читали в журнале «Ярмарка тщеславия» статью об интрижке Гитлера с его племянницей. «Я сыта Гитлером по уши!» – с ненавистью сказала Пегги, швырнув журнал на пол. Я была по уши сыта Бушем.

Неужто люди из Белого дома никогда не слыхали слова «карма»? Они ложью заставили страну вступить в войну, бряцая оружием, пересечь границы другого государства, пытаясь навязать свою форму правления суверенному государству без какого бы то ни было международного соглашения или законного обоснования. Затем принялись убивать безнадежно бедных людей ради непристойно богатых. А потом нам было велено, точно проказливым подросткам, воздерживаться от разговоров о том, что это аморальная война, создавшая катастрофический

прецедент, ибо поступать так – значит оказывать помощь и дарить утешение врагу.

Пока я думала обо всем этом, позвонил мой друг-иезуит Том. Обычно он звонит, чтобы пересказать последние слухи о моем психическом разложении, пьянстве или распутстве, о том, как всем плохо от знания, что я демонстрирую все свои женские прелести соседям. Но на этот раз он позвонил, чтобы поздравить с днем рождения.

– Как нам пережить все это безумие? – спросила я. На пару мгновений воцарилось молчание.

– Левой, правой, левой; дышать, – ответил он.

Отец Том любит пустыню. Как и некоторые мои друзья. Они любят небеса, втягивающие тебя в бесконечность, точно океан. Любят безмолвие и то, как пульс пустыни начинает звучать, подобно звону, который издает палец, если вести им по краю хрустального бокала. Обожают эту пугающую красоту: змей, ящериц, скорпионов; обожают пустельг и ястребов. И замирают при виде мозаики вылизанной водой гальки на пустынной подложке или маленьких камешков, отбрасывающих огромные волшебные тени.

Мне пустыня нравится дозированно: изнутри машины с задраенными стеклами и запертыми дверцами. Я предпочитаю пляжные курорты с обслуживанием в номере. Но либералы уже несколько лет пребывают в пустыне, и в иные дни я с трудом понимаю, за что молиться. За мир? Ладно, допустим.

Не знаю, верю я в Бога или нет... Но главное – привести себя в такое состояние ума, которое близко к состоянию молитвы.

Так что утром своего дня рождения, поскольку молиться я не могла, сделала то, что однажды рекомендовал Матисс: «Не знаю, верю я в Бога или нет... Но главное – привести себя в такое состояние ума, которое близко к состоянию молитвы». Я закрыла глаза и притихла. Пыталась быть похожей на мать Марию – с дредами и больной спиной.

Но через считанные секунды уже лихорадочно хотела включить телевизор. Я была в ломке: хотелось новой порции ругани от репортеров – и пагубного ликования по поводу того, что было великой победой для Джорджа Буша. Итак, мы не смогли найти это дурацкое оружие массового поражения – *пик-пик-пик...* Я не включила телевизор. Продолжала держать глаза закрытыми – и чувствовать себя безумицей, осознав, как мне необходимы эти пять минут Си-эн-эн. Слышала, как за окном поют птицы – и это было как китайская пытка. Потом вспомнила

тот уик-энд, когда одиннадцать миллионов людей во всем мире вышли на марш за мир, вспомнила, как радостно было входить в число создателей этого великого действия. Мой пастор Вероника говорит, что мир – это радость в состоянии покоя, а радость – это мир, твердо стоящий на ногах; в тот уик-энд я ощущала и то и другое.

Я лежала на полу с закрытыми глазами – так долго, что моя собака Лили подобралась и начала встревоженно вылизывать меня. Это развеселило. «Что ты приготовила мне на день рождения?» – спросила я. Она начала покусывать мою голову. Это помогло. Не знаю, кто сумеет вывести нас из безумия и варварства: сейчас я растеряна. Но знаю, что в пустыне надо держаться подальше от жгучего солнца. Выходишь в путь или ранним утром, или в вечернюю прохладу. Ищешь оазис, тень, безопасность, свежесть. Там есть все оттенки зелени и золота. Но я лишь притворяюсь, будто думаю, что это красиво: я нахожу пустыню страшной. Хожу по яичным скорлупкам, затаив дыхание.

Я перезвонила Тому.

Он слушал молча. Я попросила его сказать мне что-нибудь хорошее.

Он задумался.

– Ну, – проговорил наконец, – у меня цветут кактусы. На прошлой неделе они еще были уродливы и похожи на рептилий, а теперь взрываются красными и розовыми соцветиями. Цветут не каждый год, так что приходится любить сейчас.

Начинаем с доброты к себе. Дышим, едим. Помним, что Бог присутствует везде, где страдают люди. Бог здесь, с нами, когда мы несчастны, – и Он там, на полях войны. Страдания невинных притягивают Его.

– Ненавижу кактусы, – ответила я. – Хочу знать, что делать. С чего начать.

– Начинаем с доброты к себе. Дышим, едим. Помним, что Бог присутствует везде, где страдают люди. Бог здесь, с нами, когда мы несчастны, – и Он там, на полях войны. Страдания невинных притягивают Его. Дети, убитые американскими бомбами, не брошены богом.

– Ну, выглядит как раз так, что брошены, – возразила я. – Для их родителей это определено так.

– И Христос казался покинутым на кресте. Это выглядело как победа римлян.

– Как нам помочь? Как не лишиться разума?

– Заботьтесь о страдающих.

– Я не могу поехать в Ирак.

– Несчастливые есть и здесь.

После этого разговора я съела несколько шоколадок. Потом попросила Бога помочь мне быть полезной. И впервые почувствовала, что мои молитвы отосланы и приняты – как электронные письма. Пыталась сотрудничать с благодатью, то есть не включала телевизор. Снова просила Бога помочь. Проблема с богом – по крайней мере, один из пяти раздражающих факторов общения, – в том, что Он редко отзывается сразу. Это может занять дни, недели. Похоже, некоторые понимают, что жизнь и перемены требуют времени. Чу Эн-лай, когда его спросили: «Что вы думаете о французской революции?» – на минуту задумался и ответил: «Пока слишком рано говорить». Я же, напротив, принадлежу к личности с мгновенными реакциями. Бушу потребовалось несколько десятилетий, чтобы уничтожить иракскую армию за три недели.

Но я молилась: помоги мне. А потом поехала в супермаркет, чтобы купить себе вкусностей на праздничный ужин. В магазине радостно общалась со всеми, особенно с пожилыми людьми, – и просветлела. Когда кассирша закончила рассчитывать мои товары, то взглянула на чек и воскликнула:

– Эге! Да вы выиграли окорок!

Я была огорошена: просила о помощи, а не об окороке! Это меня расстроило: что, скажите на милость, мне делать с десятью фунтами соленого розового ластика? Я редко его ем. От него пучит.

– Ого, – произнесла я. Кассирша была так рада, что и я изобразила ликование.

Как это прекрасно!

В складское помещение магазина отрядили за моим окороком грузчика. Я стояла в тревожном ожидании. Мне хотелось домой, чтобы начать заботиться о страдальцах или включить, наконец, Си-эн-эн. Я едва не предложила кассирше присудить наградной окорок следующему покупателю. Но по какой-то причине стояла и ждала. Если Бог дарит окорок, было бы безумием не принять его. Может быть, это окорок божий, который принимает на себя грехи мира...

Десять минут я прождала того, что назвала про себя «этим гребаным окороком». Наконец грузчик вручил мне сверток размером с кошку, я, изображая радость, сунула его в тележку и пошла к машине, пытаюсь сообразить, кому эта штука может понадобиться. Подумывала о том, чтобы выбросить сверток из окошка машины возле какого-нибудь поля. И так глубоко задумалась, что впаялась тележкой в медленно рулившую по парковке машину.

Я принялась было извиняться, но тут обратила внимание, что машина эта – ржавая развалина, а за рулем – моя старая подруга. Давным-давно мы с ней обе сделались трезвенницами, и обе одновременно родили сыновей. У нее темная кожа и прямые волосы цвета застывшей смолы.

Она приоткрыла окошко.

– Привет, – сказала я. – Как твои дела? А у меня сегодня день рождения.

– С днем рождения, – ответила она и заплакала. Она выглядела опустошенной и истерзанной; спустя какое-то время, ткнула пальцем в указатель уровня бензина. – У меня нет денег ни на топливо, ни на еду. Я ни разу не просила о помощи друзей с тех пор, как стала трезвенницей, но сейчас прошу тебя мне помочь.

– У меня есть деньги, – сказала я.

– Нет-нет, мне нужно только заправиться, – заторопилась она. – Я никогда никого не просила о милостыне.

– Это не милостыня, – возразила я. – Это мой подарок на день рождения. – Я сунула ей в руку наличные – все, что были. Потом полезла в тележку и протянула окорок – точно клоун, раздающий цветы. – Слушай-ка! – сказала я. – Ты и твои дети – вы любите окорок?

– Обожаем! – отозвалась она.

Она уложила его на переднее сиденье рядом с собой – нежно, словно собиралась пристегнуть ремнем. И еще немного поплакала.

Мы расцеловались на прощание через окошко ее машины. Возвращаясь, я думала о сезонных дождях в пустыне, о том, как выбоины в камне заполняются дождевой водой. Чуть позже уже видно, как резвятся там лягушки и быстро-быстро плодятся малюсенькие рачки – кавычки, танцующие макарену. И от запустения в мгновение ока свершается переход к изобилию.

Последний вальс

Эта история не о самом прекрасном рождественском подарке, какой я дарила или получала в своей жизни. Она – о лучшем подарке на день рождения и о том, как свет возвращается в этот темный мир.

Больше двадцати лет у меня была подруга, которую очень люблю, хоть и не сказать, что мы близки. Ее зовут Кэрол Вагнер, ей около 55. Мы встретились двадцать с лишним лет назад, когда она не раз подбирала меня, голосующую на обочине, и подвозила в Вест-Марин, где мы тогда жили. У нее были непокорные выющиеся волосы, она была страстной читательницей – и скромной пролетаркой, работавшей на почте в Стинтон-Бич. Я немного побаивалась ее поначалу, потому что она, помимо прочего, состояла в школьном совете, где могла быть и неуступчивой, и вспылчивой, но нам всегда нравилось болтать в машине. Она была насмешлива, умна и не терпела никакого вздора – все, что мне нравилось.

В ней есть прекрасная простота, ощущение человека прочного и истинного, который перенес массу утрат в жизни и имеет немало причин озлобиться – но не делает этого. Красота души видна была в ее лице: неуступчивая ироничная индивидуальность – одновременно отдаленная и бросающаяся в глаза. Дураков не переносила никогда, но помогла немало числу людей преодолеть тяготы и невзгоды, поэтому ее любят и ценят. Людям просто нравилось видеть ее – хоть на улице, хоть на почте. Просто нравилось – и это такая редкость, и так чудесно, прямо какая-то алхимия.

В ней есть прекрасная простота, ощущение человека прочного и истинного, который перенес массу утрат в жизни и имеет немало причин озлобиться – но не делает этого.

Несколько лет назад Кэрол заболела лейкемией. Прошла стандартные медицинские процедуры, включая массажную химиотерапию. Она тряслась, и почернела, и потеряла свои непокорные кудряшки, и жутко мучилась от этого лечения. Но похоже, оно на какое-то время помогло. Обитатели Стинсон-Бич, где она жила, готовили для нее, и ходили по магазинам, и возили ее по врачам, и не давали скучать, и сдавали бесплатно ведра крови. Кэрол отринула несущественные аспекты своей жизни – просто сбросила с самолета, чтобы воспарить, и когда «химия»

закончилась, построила жизнь заново. Потом было несколько обострений, и требовались новые раунды лечения, и жизнь снова обдиралась до выживания и исцеления – а потом она вновь строила ее заново. Можно было подумать, что Бог поможет ей – как полицейский-регулирующий приостанавливает дорожное движение, чтобы утята могли перейти улицу, но не тут-то было. Реальная жизнь подняла голову: некоторые из тех, кого Кэрол любила больше всего, тоже заболели, и она делала все, чтобы помочь им, одновременно пытаясь выздороветь сама. Но как говорит псалмопевец, радость водворяется наутро; так и было. Дочь Кэрол родила большого коренастого мальчишку, и нежная младенческая кожица оказалась целительной. Но псалмопевец не говорит о том, что под конец дня сумрак опустится вновь, а затем наступит ночь...

Кэрол отринула несущественные аспекты своей жизни – просто сбросила с самолета, чтобы воспарить, и когда «химия» закончилась, построила жизнь заново.

Когда я увидела ее на концерте, она делала все, что было важно – но мало сверх того. Жила с вопросом «что, если?..» – и неплохо справлялась. Возникало ощущение, что в частной жизни она по-прежнему крепка и вынослива, хотя и несколько смягчилась. Думаю, дело было в сладком голубоглазом малыше – но отчасти и в том факте, что рак «надламывает» оболочку человека, открывая ее для чего-то нового. Думаю, в Кэрол проникло знание о том, что она любима и защищена; она была благодарна за это знание, пусть и досталось оно горькой ценой.

Но потом ей стало хуже, рак вернулся – и, прибегнув к последнему средству, врачи сделали трансплантацию костного мозга. Люди из Стинсон-Бич снова сплотили свои фургоны вокруг беды. Готовилась и доставлялась еда, предлагались поездки с водителем, сдавалась кровь. Но анализы определили, что пересадка не помогла.

У врачей не осталось более методов, и все печалились, особенно Кэрол, которая так сильно любит свою дочь и маленького внучонка; но что остается после того, как докторам уже нечего делать? Если повезет, будешь продолжать жить. Так что, когда друзья начали заговаривать с ней о подробностях поминального вечера, ее главным желанием было... на нем присутствовать.

Так она и поступила. Несколько суббот назад закатали званый вечер в общественном центре Стинсон-Бич. Она хотела поблагодарить жителей городка за то, что они сделали, объяснить, что столько времени прожила она в относительном

здравии только благодаря их поддержке: той еде, которую они готовили, той крови, которую они сдавали, тем детям, с которыми они сидели, чтобы родители могли обслуживать ее.

Это была и вечеринка, и церковная служба: мы шли туда с решимостью, с любящим сердцем и вниманием, что, собственно, и делает любое событие – священным. Атмосфера была одновременно праздничная и печальная, головокружительно-теплая.

Большой, похожий на амбар общественный центр обычно кажется огромным и безликим, и освещение там довольно неприятное. Однако в тот вечер горели лишь несколько главных люстр. В камине был огонь, и рождественские гирлянды на елке в углу, и свечи повсюду – и это давало замечательный сентиментальный свет, который мягко обволакивал каждого. Люди принесли для Кэрол целую гостиную: диваны, циновки, большие удобные кресла. Я высмотрела ее в самом центре толпы. (Их оказалось сотни две-три – вместо тех пятидесяти, которых она ожидала.) На ней было пурпурное бархатное платье, и выглядела она замечательно. Теперь волосы стали короче, седеющие кудряшки прижались к голове – и она уже не походила на себя, прежнюю: твердое стало мягким, неуступчивое – нежным, сухое вновь превратилось в сочное.

В одном углу играла группа музыкантов, и люди беседовали с чрезвычайной живостью, словно говоря: «В эту минуту мы понимаем, что это – все, что у нас есть, так давайте же будем вместе». Гости двигались под волшебными огнями, словно в большой сети, которая держит всех. Ее друзья приоделись, и принесли с собой еду, и оставили за порогом все дурное – вместе с зонтиками. Они взяли это громадное амбарное пространство и сделали его таким теплым, и интимным, и живым, что я не могла отделаться от мысли, что все танцуют. Это сбивало с толку, потому что на самом деле танцевали немногие. Но происходили такие танцы в стиле Руми: «Танцуй – когда разрублен! Танцуй – сорвав бинты!» Люди танцевали без партнеров, но – вместе.

В этом тепле и мягком свете мы были как золотинки в оливковом масле или пылинки в луче солнца: кружились и ныряли, поднимаясь и распределяясь в пространстве; частицы, сделавшиеся целым. Какая редкость!

Мы с подругой Нешамой прятались у столов с едой, поджидая своей очереди свидеться с Кэрол. Ели все, что попадалось под руку, – на подобных мероприятиях так много едят! Может быть, дело в том, что у тебя есть тело, и оно еще здесь – и хочет твоего внимания. Может быть, нужен дополнительный вес, чтобы не унесло ветром. На банкетных столах стояли десятки блюд с едой:

изысканной и простецкой, горячей и холодной, с мясом, салатами и десертами. Но лучше всего были крохотные запеченные картофелинки в гигантском блюде: масляные и хрустящие снаружи, нежные внутри, коричневато-рыжие, исполосованные привядшим розмарином. Вначале они оказывали сопротивление, но потом таяли во рту.

Я подвалила к дочери Кэрол, которая держала на руках чудесного младенца. Он, крепкий, веселый и общительный, сразу пошел на руки, и мне удалось почувствовать его чистую младенческую душу – и на мгновение ощутить извивающуюся плоть. Потом он замер, уставился в незнакомое лицо, с ужасом понял, что совершил кошмарную ошибку, – и громко заревел, призывая охрану. Мать потянулась за ним, улыбаясь; снова оказавшись в ее руках, он вновь заулыбался мне.

Это чудесно – праздновать жизнь человека, пока он еще с тобой; дарить ему яркое теплое сияние и принимать свет от него – прежде, чем он угаснет.

Наконец я урвала несколько минут с Кэрол. Она выглядела счастливой в этом теплом свете, в окружении друзей. Некоторые казались удрученными, изнывающими от неудобства из-за того, что их пригласили прийти и сказать последнее «прости». Но большинство гостей постарались – и сумели раскрыться навстречу пугающей мысли о том, что хозяйка вечера, вероятно, очень скоро умрет. В этой тьме она сияла, излучая мягкость. Малыш то и дело взглядывал на нее, заигрывая и улыбаясь. Было ясно: Кэрол не хочет умирать, но сделает это с той же элегантностью, с какой жила. Потом сказала мне:

– Я не испытываю ненависти к смерти или к раку – это лучше, чем умирать как-то иначе, потому что это дает мне время.

– Время на что?

– Время что-то исправить, время сказать всем, как сильно я их люблю.

Это чудесно – праздновать жизнь человека, пока он еще с тобой; дарить ему яркое теплое сияние и принимать свет от него – прежде, чем он угаснет.

– Этот пурпур не будет смотреться на мне, когда желтизна возьмет свое, – говорила Кэрол; в эти мгновения она светилась, словно вот-вот пустится в пляс. И пустилась! Мы обнялись на прощание, и я побрела прочь, ища Нешаму и чувствуя себя осликом Иа. Но оглянулась в последний раз и увидела, как Кэрол кружится в танце со своим другом Ричардом под меланхоличную кантри-песенку.

Не все будет хорошо. Можете мне поверить. Особенно в конце ноября. Ноябрь был и остается месяцем ведьм – порой тьмы, дождей и грустных размышлений. Близится конец года, и ты подсознательно подбиваешь итог тому, что сделал и не сделал. В этом ноябре на свободу вырвались все силы тьмы. Два близких молодых человека серьезно заболели. Моей собаке поставили онкологический диагноз. Выплыли на свет подробности недавней массовой бойни в Сирии. Двое друзей, самых любимых, вовлеклись в непристойные юридические марафоны. Я всей душой желаю излечить и спасти всех и каждого, но не могу.

Приходится верить, что высшая сила мучается со всем этим не меньше нашего. Но если исцеление и забота все же будут иметь место, то это будет – любовь. Любовь, проходящая через нас сегодня и сейчас, а не в эфемерном прекрасном будущем, когда мы будем в полном расцвете сил, сострадательной отстраненности и терпеливого веселья. Мне потребовались годы, чтобы понять это, то есть стать вполтину менее реактивной и на треть менее озабоченной собственным невротическим разочаровывающим «я». И теперь я не согласна с той медлительностью, с которой мы развиваемся в сторону терпения, мудрости, прощения. Многие мирятся, к примеру, с несчастливым браком – это жизнь. И вот мы трудимся над собой, становясь рассудительнее и терпимее, что само по себе достаточно трудно, – и без чудовищных людей, сокрушающих наши жизни. Я не собираюсь называть имен. Может, только одно: Ютон.

Приходится верить, что высшая сила мучается со всем этим не меньше нашего. Но если исцеление и забота все же будут иметь место, то это будет – любовь.

Ютон – ужас моей семьи, та, кого я, не будь христианкой, назвала бы лживым дерьмом, если бы не знала, что всякий человек драгоценен для Бога. Тогда скажем так: заблудшее двуличное лживое дитя божие. И поскольку по некоторым причинам она не может публично насмехаться над нами сама, у нее есть две подруги, которые служат такими прокси-насмешницами. Когда мы натываемся на ее подруг, они одаривают нас гнусными взглядами. Это даже забавно. Обычно мы звоним друг другу и сообщаем, смеясь, что удостоились «ютонического осмотра».

Как-то в субботу я пошла в кино, чтобы отключиться от

всего, – спонтанно, без косметики, в домашних «толстых» джинсах. Я не поела дома, поскольку собиралась побаловать себя попкорном и шоколадным батончиком с соленой карамелью.

Идя от машины к кинотеатру, я увидела две вещи. Первое – длинную очередь, от которой пала духом. Но в конце очереди стоял высокий мужчина, похожий на моего младшего брата. И он чудесным образом оказался именно младшим братом, да еще вместе с женой. Они собирались на фильм, который я уже смотрела. И я встала рядом.

Мы обнялись, расцеловались и стали делиться впечатлениями о том, каким мучительным был последний месяц для всех наших любимых, и нежно поддразнивали друг друга, и смеялись. Райское наслаждение! Мы медленно двигались ближе к дверям, когда за спинами прогремел голос:

– Здравствуй, Энни Ламотт!

Я обернулась и увидела лучшую подругу Ютон, стоявшую далеко позади нас. Бесцеремонная пышная блондинка с зубами, как у пирата, по имени Тэмми; единственная алкоголичка-трезвенница в местной общине, от которой у меня шерсть встает дыбом. Она возопила:

– Эге-гей, гляньте-ка все, это же писательница Энни Ламотт!

Брат положил руку мне на плечо, я глубоко вдохнула. Однако и приятель Тэмми, и многие люди, стоявшие в очереди, услышали и узнали ее голос.

– Тэмми! – с энтузиазмом вскричал мужчина. – Сколько лет, сколько зим!

Она выкрикнула его имя и пошла обниматься с ним, стоявшим в десяти футах перед нами. Я видела крест у нее на шее. Она улыбнулась во всю пасть. Затем друзья, с которыми она стояла в очереди, тоже пошли с ним обниматься.

А потом все они решили там остаться.

Теперь они были намного, намного ближе к билетной кассе.

Я улыбалась, пытаюсь побороть негодование и держаться молодцом. У таких людей, как я, инстинкт «борись или беги» проявляется в виде отчаянного желания улаживать, угождать людям и создавать гармонию. Моя ярость сначала уходит под землю, но потом вырывается из-под нее, точно гусеница, съедая еще один лист или почку в саду – или целое ведро попкорна. Порой, однако, она выражается желанием вбить человеку гвоздь в голову или переехать его машиной. Это – моя глубоко спрятанная лимбическая система, теневая личность, ратующая за открытое ношение оружия. Без нее я не была бы человеком, однако в моменты, подобные этому: когда на внутреннем экране мелькает образ меня самой, вырывающей клоч наглых блондинистых волос

Тэмми... это заставляет остановиться и подумать. Это – предел.

И ладно бы на этом закончилось. Люди, которые пока еще стояли позади нас, коллективно решили, что очередь раздвоилась и два ее рукава сливаются в один поток.

Я повернулась к тем, которые бежали, чтобы встать в очередь Тэмми, и сказала:

– Ребята, здесь только одна очередь. – хотя было ясно, что их две: настоящая и новая, негодяйская. Я сказала рвущимся вперед: – Слушайте, ребята. Это, право, несправедливо. Ведь все мы стоим и ждем. Пожалуйста, вернитесь на свои места.

Но им *нравилась* их очередь. Они же не дураки.

Тэмми, лидер бунтовщических сил, теперь стоявшая впереди нас, рядом с дверью, широко раскрыла глаза и проговорила:

– Ой-ой, кажется, мы расстраиваем Энни Ламотт.

Многие рассмеялись. Я принялась молиться: «Помоги мне» – и уперлась взглядом в землю. Теперь очереди сливались у самой двери, и люди вежливо уступали друг другу. Я только что не рыла землю копытом, фыркая своими бычьими ноздрями.

Брат и невестка шептали мне на ухо ободряющие слова, точно я рожала.

Руки тряслись. Я сунула их в карманы «толстых» джинсов. Я успокаивала себя, как могла, спросив брата:

– Ты, часом, не прихватил с собой копье?

Он пошарил по карманам и, извиняясь, покачал головой. Тогда я спросила невестку:

– А у тебя в сумочке не завалился пузырек с кислотой?

В свои шестьдесят я достаточно опытна, чтобы верить мудрецу, который советовал никогда не сражаться с драконами, ибо мы для них – аппетитные хрустяшки.

Она полезла в сумку, порылась в ней и предъявила две влажные салфетки в индивидуальных упаковках, вероятно, надеясь, что я, наконец, умою руки. Я их приняла. Мир так несправедлив, как в песенке из «Трехгрошовой оперы»: «Как нищ сей мир, как дик в нем человек». Все, что я могла сделать – это высоко держать голову, протирать трясущиеся ладони, пытаться спокойно дышать. В свои шестьдесят я достаточно опытна, чтобы верить мудрецу, который советовал никогда не сражаться с драконами, ибо мы для них – аппетитные хрустяшки. Так что я протерлась одной салфеткой, положила другую в карман, обнюхала свои лимонные руки. Приятные запахи даруют некоторое примитивное утешение, и я удерживала свои позиции, пока еще несколько человек не перебежало в очередь Тэмми. И

тут у меня вырвалось:

– Это несправедливо.

– Нет! – воскликнул потом мой сын, умирая со стыда, когда я рассказывала ему эту историю. – Ты же этого не сделала на самом деле.

Нет, сделала.

Все стоявшие перед нами обернулись и уставились на меня, словно я вырядилась в карнавальный костюм.

Тэмми переступила порог фойе и завывала, обращаясь к своей ватаге:

– Это несправедливо!

Слезы брызнули у меня из глаз. Брат и его жена придвинулись ко мне и предложили отвезти домой. Толпа тащила нас к двери. Даже когда мы попали внутрь, кое-кто в фойе продолжал оглядываться, чтобы увидеть мое поверженное писательское «я». Это было так похоже на мое детство, на времена, когда кажется, будто стоишь на паромном причале, а лодка, полная счастливых людей, отчаливает прочь. Я разрывалась: хотелось посмотреть фильм и побаловать себя вкусеньким. Но если бы я ушла, Тэмми бы победила.

Пред шершавым каменным ликом одиночества я выложила деньги в окошко кассы. И уверила брата и невестку, что со мной все в порядке, и послала их смотреть свое кино. В моем зале, кроме меня, было только пять человек – очевидно, компания неудачников, ни одного знакомого. Мы уселись как можно дальше друг от друга и принялись глодать попкорн, точно козы. Я задумалась: почему мы вообще оказались на этом дурацком фильме? Что общего у меня с полицейскими и членами банд? «Ш-ш-ш, ш-ш-ш, ш-ш-ш», – успокаивала я себя – и просто смотрела. А потом поняла: я задавала неверный вопрос. Правильный был бы таким: где Бог в бандитских войнах? И вот ответ: Он и в вооруженных конфликтах, и в нашем алкоголизме, и когда терроризируют детей. Его распинают.

Я пыталась сосредоточиться на фильме, но постоянно слышала, как Тэмми высмеивает меня, вызывая ликование в очереди. Воспоминание было примитивным, библейским – она была змеей ходящий. «Давай – есть способ сделать это легче». Это было ее животное. Люди возникли из чешуи, хвостов и острых зубов, но животные, из которых мы выросли, нигде не делились – просто скрыты наслоениями, прячутся внутри цивилизованности и презентабельности. Они могут быть слабыми и забитыми, а могут – яростными и темпераментными, как напоминание о наших инстинктах. Бегущие псы, бабочка-монарх, баобаб, кит. Или горилла Коко, которая языком знаков объяснила своим

учителям, что она – прекрасна.

Что-то охватило меня и проникло внутрь естества – то, что мы, религиозные люди, осмелились бы назвать святым духом. Одна из расшифровок слова «бог», которая мне очень нравится, – дар безрассудства (*GOD – Gift of Desperation*). А вдруг, думалось мне, в этот вечер я могу попробовать нечто новое. В конце концов, готовность меняться рождается из боли. Я не говорю о трансформации с большой буквы... впрочем, может, и говорю. Действительно жажду радикальных перемен, но хотела бы знать о них заранее – чтобы успеть подкраситься. Но два крохотных шажочка вперед? Я их сделаю.

Что-то охватило меня и проникло внутрь естества – то, что мы, религиозные люди, осмелились бы назвать святым духом. Одна из расшифровок слова «бог», которая мне очень нравится, – дар безрассудства (*GOD – Gift of Desperation*).

Во тьме кинотеатра я решила достичь небывалых высот: найти Тэмми после сеанса и извиниться. Кто знает, может быть, эти два мятежных лидера, Ганди и Иисус, были правы: доброта радикально меняет людей. Их путь – путь открытого сердца – всегда прав. Достоинство и доброта как бы подмешаны в безумие, точно карамельные жгутики в мороженое. Иначе все ограничивалось бы мной: моими желчными протоками, уникальностью и страданиями. И это – ад. Так кому я буду подражать: Ганди и Иисусу – или Тэмми и себе самой?

Кто знает, может быть, эти два мятежных лидера, Ганди и Иисус, были правы: доброта радикально меняет людей. Их путь – путь открытого сердца – всегда прав.

Слушайте, а можно минуту на размышление? Ты хочешь быть счастливой – или правой? Хмм... Позвольте, я еще вернусь к вам с этим вопросом.

Я громко вздохнула и поняла, что не надо было ползти попластунски через фойе кинотеатра или думать о тех пунктах, в которых Тэмми необходимо исправить.

После окончания фильма пошла искать ее, чтобы извиниться за участие в этом безумии. Я сдалась и опустила оружие. Мне нужно было осуществить трансформацию: из раболепствующей изгнанницы – в Возлюбленную, в прекрасное животное гориллу.

Нашла ли я ее? Разумеется, нет. Жизнь – не кино и редко бывает устроена удобно. Зато я нашла себя. Свое потрепанное временем достоинство. Я нашла вторую салфетку в кармане

джинсов и смыла соль с пальцев. Что еще лучше, я нашла в машине телефон и позвонила одному другу. От хохота по лицу струились слезы, когда я закончила пересказывать ему эту историю.

Пока ехала домой, до меня дошло, что Тэмми, вероятно, сейчас пересказывает эту же историю Ютон, обмениваясь с ней мнениями о моем позоре. Но я покачала головой – и отреагировала на себя как друг. Невозможно добраться оттуда, где я была, из очереди, – туда, где я сейчас. Пару недель спустя я нашла Тэмми – в другой очереди, в магазине, хоть нас и разделяли три человека. Поначалу возблагодарила Бога за то, что она меня не видит. Потом высунула голову, чтобы она меня заметила. Она держала в руках прозрачный пакет с яблоками и тубу со сливками. Я улыбнулась и сделала покаянное лицо, и тогда она тоже улыбнулась – своей застенчивой пиратской улыбкой.

В день мирного марша в Сан-Франциско я проснулась полная ненависти и страха. Честно говоря, надеялась обнаружить себя в печальной эlegantности Вирджинии Вульф, а вместо этого пыхала гневом на то, что лидеры страны запугиванием и подкупом вымостили себе путь к «упреждающей» войне. Бить первым – всегда было фирменным знаком зла. Не думаю, что хоть один великий религиозный или духовный мыслитель утверждал иное. Они, представители разных традиций, сходятся на пяти пунктах. Правило 1: Все мы – одна семья. Правило 2: Пожинаешь то, что посеешь, то есть тюльпаны из семян цукини не вырастишь. Правило 3: Старайся делать вдох примерно каждые несколько минут. Правило 4: Безусловно полезно сажать луковичные растения во тьме зимы. Правило 5: Бить первым безнравственно.

Я пыталась отделаться от страха и ненависти молитвой, но разум снова превратился в пейнтбольный автомат обвинений. Посадила луковицы несколько месяцев назад, но они еще не зацвели, и выбираться из постели не хотелось. Как и все, я была угнетена войной. И сомневалась, что еще верю в Бога. Казалась смехотворной эта убежденность в том, что есть невидимый жизненный партнер и все мы – часть некой изолированной от зла истины. Я лежала, скрипя зубами, уверенная, что получаешь лишь то, что видишь. Вот и все. Эта земля, эта страна – здесь и сейчас. Не самое легкое место, но – значительное.

Я стиснула в объятиях кошку, как делала, когда ссорились родители, – спасательный плотик в холодных глубоких водах.

Но потом – маленькое чудо – начала верить в Джорджа Буша. Честное слово! К своему ужасу, стала гадать: вдруг он умнее, чем мы думали, и обладает интеллектом и тонкостью, далеко превосходящими мое собственное понимание или мнение блестящих мыслителей нашего времени?

Облегчение накатило, точно мягкий прибой, потому что верить в Джорджа Буша настолько абсурдно, что вера в Бога кажется почти рациональной.

А потом я подумала: кто – *Джордж Буш*?! И облегчение накатило, точно мягкий прибой, потому что верить в Джорджа Буша настолько абсурдно, что вера в Бога кажется почти рациональной.

И решила начать с самого начала, с простой молитвы. «Привет!» – сказала я.

Никакой покой не ждет нас в будущем, если он не скрыт в этом нынешнем крохотном мгновении.

Кто-то или что-то нас слушает. Я не так много знаю о его природе, но когда взываю, оно меня слышит, придвигается ближе – и я чувствую себя не такой одинокой. Становится легче. И в то утро я почувствовала себя лучше, начиная заново. В этом нет позора – святой Августин говорил, что приходится начинать свои отношения с богом с самого начала, каждый день. Вчерашняя вера не ждет тебя, точно пес с тапочками и утренней газетой в зубах. Ты ее ищешь и – ища – находишь. В эпоху Возрождения брат Джованни Джокондо писал:

«Никакой рай не сможет снизойти к нам, если сердца наши не найдут в нем сегодня отдохновения. Возьмите рай!

Никакой покой не ждет нас в будущем, если он не скрыт в этом нынешнем крохотном мгновении. Возьмите покой!»

Так что я подняла себя с постели и поехала встречаться с друзьями в Сан-Франциско.

Мы кружили вокруг Эмбаркадеро, откуда видно бесконечное небо и залив, и лента Мебиуса шестидесятых – огромная толпа – снова собралась на священной земле. Ораторы выступали перед нами из разных звукоусиливающих систем, усовершенствованных за последние тридцать пять лет, точно музыка в стиле хеви-метал, проигрываемая на неверной скорости. Но энергия, и плакаты, и лица в толпе были заразительным бальзамом; с помощью некоего чудесного йоговского упражнения на растяжку мы перестали вычислять, с кем и с чем согласны и кто здесь негодные элементы: ораторы-социалисты? «Панки за мир», которые пришли подготовленные, с рюкзаками, полными булжников? Ненавистники Израиля? Правые сионисты? Надо было просто расслабиться, поскольку Маркет-стрит была достаточно широка для всех. И мы начали марш, где каждый – маленькая частичка одного большого тела, восхитительно неподконтрольного.

Это море людей было похоже на огромный цирк: множество буддистов, люди против союзов, церквей и храмов, панки и раввины, стареющие хиппи, монахини, ветераны – все выплеснуто на асфальтовую лужайку Маркет-стрит. Мы делали маленькие шаркающие шажки, как дзенские монахи в многолюдной свадебной процессии. Это было все равно что оказаться на ленте конвейера: страшно, потому что можно споткнуться и на тебя наступят. Казалось, одновременно пытаешься похлопать себя по голове и погладить по животу.

«Я» превратилось в «мы». Шагаешь вперед с друзьями – с одинаковой скоростью, в ритм биению ударных. Видишь

знакомых и некоторое время тусуешься с ними, потом они уходят дальше, и новые люди идут в ногу с тобой, делятся замечаниями и жевательной резинкой. Кто бы ни шел с тобой, он – рядом. Добрая воля дарит чувство безопасности в толпе – пузырьковую эйфорию, несмотря на мрачную реальность времени. Пели песни, которые я любила десятилетиями, и топали дальше; волна марша за мир вздымалась, радостный ропот солидарности рябью расходился от переднего края – его подхватывали те, кто сзади.

Толпа увлекала с собой, но у нее был самокорректирующий механизм: время от времени она выпускала из себя то, что было чуждо: грубые гневные элементы, пронзительные и сеющие распри. Это был парад Золотого правила: поступаешь так, как хочешь, чтобы поступало правительство: с добротой и уважением. Группы отщепенцев, которые потом обезумели и стали крушить все подряд, были мирными, пока оставались с нами. Я видела только дружелюбие, печаль, доброту – и воистину театральное действие. Больше всего мне понравились люди, одетые, как овцы на ходулях; они напоминали гигантских маскарадных пришельцев, с рогами и кудрявой шерстью – как марионетки, которых мог бы заказать Людовик XIV. Никто понятия не имел, почему они оделись овцами или почему они на ходулях. Может, изображали агнцев мира, может, просто хотели лучше видеть.

«Матери в черном» торжественно двигались в середине толпы, размеренно и серьезно, ратуя за мир. Они были одеты в черное – и останавливали взгляд своим присутствием, точно знаки пунктуации; заставляли вспомнить, зачем ты здесь.

Две вещи одержали верх: наше громкое «нет» власти и монолитное товарищество. Мы были печальны и напуганы, но совершили дерзкий поступок: явились сюда, не зная, что еще можно сделать, и без особой надежды. Это все равно что устроить пикник в тумане, надеясь, что пройдешь сквозь него к чему-то светлому. В наших голосах и шагах была слышна мантра: «У меня хорошее предчувствие!» Подспудное же бормотание было таковым: «А какой смысл в том, чтобы не делать ничего?»

На этот раз были сломаны все баррикады: между расами, цветом кожи, возрастами, полами, классами, нациями. Для этого – довольно мало возможностей: поначалу возникает ощущение «мы и они», затем обнаруживаешь себя плечом к плечу с десятками тысяч людей; вы читаете плакаты друг друга – пронзительные или заставляющие громко хохотать. Вы третесь плечами, ощущаете запахи тел, травы, мочи, благовоний и страха – и течете вдаль. И ты – часть потока, и в этом – жгучие зеленые побеги надежды. Ощущение может возникнуть всего на миг. Но это – квантовый момент: он может случиться снова и

распространяться дальше; нет никакого суждения, никакого выяснения – только кипучий и долгий путь: шаг, шаг, шаг.

Люди пели, и младенцы плакали, и ноги начинали болеть, и хотелось пойти домой, и как раз тогда ширококозые палестинки начали распевать: «Вот как выглядит демократия. Вот как выглядит демократия».

Ого! Это молитва, которую я повторяла все утро после марша мира: ого! Я чувствовала себя приободренной этими людьми, идущими вместе по Маркет-стрит, воспоминаниями о собаках «мирников» с повязанными на шеях платками, о «Матерях в черном» и о славных овцах. А потом, как ни удивительно, всего пару дней спустя начали расцветать первые луковичи. Не прошло и недели, как в саду уже были десятки нарциссов. Когда это случается – каждый год в конце зимы, – я поражаюсь. К тому времени я уже успеваю сдать. В ноябре и декабре, сажая их, увлекаюсь фантазией о том, что земля после стольких дождей будет жирной и вязкой. Высадка луковиц кажется романтическим и приятным занятием, но никогда таковой не бывает. Земля твердая, каменистая, в ней полно корней, сплошная глина, однако ты все равно копаешь лунки для уродливых сморщенных луковиц, бросаешь в них по горсточке маковых семян, зарываешь все это и знаешь, что больше никогда их не увидишь. Руки исцарапаны камнями, ногти черны от земли. Декабрь и январь были такими мрачными, силы все истощались и истощались, и все обезумели, точно крысы. Однако вот они мы, в феврале: с боевыми барабанами и нарциссами, а за кулисами ждут своего выхода маки.

Благодарности

Спасибо вам, Джейк Моррисси и Джефф Клоски – высшее командование *Riverhead Books* и капитаны моей жизни. Спасибо тебе, Анна Жардин, за блестящую и несносную литературную редактуру – ты спасала меня от перспективы выглядеть неграмотной. Спасибо вам, Александра Кардиа, Кэти Фримен, Лидия Херт – и всем лукавым кроликам «Риверхеда». Спасибо тебе, Сара Чалфант, мой чудесный агент и подруга.

Спасибо вам, Стивен Баркли, Кэтрин Баркос и все птички-невелички из *Barclay Agency*.

Клара Ламотт, ты наше солнышко, как часто говорит Сэм.

Писатель обречен без прекрасных творческих друзей, которые заставляют его оставаться честным и работать еще лучше, которые подбадривают и донимают, радуются или страдают. Спасибо вам: Дуг Фостер, Марк Чайлдресс, Нешама Франклин, Джанин Рейд.

И прежде всего спасибо пресвитерианской церкви св. Андрея, Марин-Сити, Калифорния, а также пастору Веронике Гойнс.